

КРАПИВНЫЙ ЧИН

Бородкин Константин



Константин Бородин

Крапивный чин

«Автор»

2026

Бородкин К.

Крапивный чин / К. Бородкин — «Автор», 2026

Рекрут Иван обнаруживает редкий дар, не связанный с признанным родом, и попадает в Магическую коллегию петровского Петербурга. Испытания, суд и служба на северном рубеже выводят его на след опасной системы печатей и скрытых имён. Пройдя боевые и придворные испытания, он становится первым носителем нового крапивного чина.

© Бородкин К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1: Рекрутский камень	6
Глава 2: Печать без рода	13
Глава 3: Дорога на Неву	22
Глава 4: Коллегия мер и крови	29
Глава 5: Железная азбука	36
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Константин Бородин

Крапивный чин

Крапивный чин
Константин Бородин

Глава 1: Рекрутский камень

К утру двор полка раскис так, что сапог вытаскивали из земли с чавканьем, будто из горла. Снег ушел третьего дня, оставив по углам серые ледяные ребра, а между коновязью, шатрами и канцелярским столом стояла вода, затянутая рябой пленкой золы. У караульной избы топили сырыми дровами; дым не поднимался, цеплялся за крыши, за воротные столбы, за плечи рекрутов, которых пригнали еще затемно и теперь держали в очереди, чтобы они не разбежались по слободским переулкам.

Иван Векшин сидел рядом с отцом за длинным столом из плохо оструганных досок и сушил песком третью ведомость. Чернила густели от холода, перо цеплялось за волокна бумаги, а Филимон Векшин, не поднимая глаз, стучал ногтем по краю списка всякий раз, когда сын слишком долго задерживал руку.

— Не украшай, — сказал Филимон. — Это не челобитная вдове воеводы. Имя, возраст, двор, примета. Четко.

Иван зачеркнул лишний завиток в букве и переписал строку заново на полях черновой тетради. Перед ним стоял очередной рекрут, широкий в плечах, с красными глазами и мокрой веревкой вместо пояса. На левой щеке у парня был длинный след от старого ожога. Иван записал: "Ермолай Березень, двадцати лет, слобода Верхняя Сиверка, плечист, ожог на щеке". Парень посмотрел на строчку, будто мог прочесть ее сквозь перевернутую страницу.

— Ожог не от воровства, — сказал он. — Печь завалилась.

Филимон поднял глаза.

— Здесь не судят печи, — сказал он. — Руку приложишь, когда велят.

Ермолай приложил большой палец к чернильной подушечке так осторожно, словно боялся испортить казенную вещь. Отпечаток вышел смазанный, с черным хвостом у основания. Филимон поморщился, но не велел повторять: очередь за шатром уже шумела, унтеры ругались, а у коновязи двое дворянских подростков в синих кафтанах смеялись над тем, как рекруты пытаются стоять прямо под дождевой каплей с крыши.

Дворяне ждали отдельно. Их не держали за воротом, не толкали прикладами и не заставляли раздеваться до рубахи перед лекарем. Для них поставили узкую скамью у сухой стены и прикрыли ее пологом. На сапогах у них была свежая вакса; один носил на груди серебряный родовой знак, похожий на сжатую ладонь, второй все время касался пальцами медного обруча на запястье. Обруч отвечал бледной искрой, когда ветер доносил от шатров крик или запах крови.

Иван старался туда не смотреть. Дворянские знаки не имели отношения к его будущему. Его будущее лежало на столе: ведомости, песочница, нож для очинки перьев, запасная склянка чернил, пачка пустых листов под тяжелой свинцовой линейкой. Если день пройдет без порчи, Филимон вечером даст ему переписать чистовой список для полкового архива. Через год, может быть, Иван получит младшую писарскую ставку не у отца, а при соседнем батальоне. Через три года научится ставить цифры снабжения так, чтобы ротмистр не кричал с порога, а интендант не возвращал книги с плевок на угол.

Это была узкая дорога, но дорога с крышей над головой.

На краю стола лежала особая ведомость с красным полем. Ее Филимон не доверял никому: ни Ивану, ни младшему писарю из обозной избы, ни тем более полковым унтерам, которые любили ставить кресты вместо цифр и потом клялись, что так было велено. В красное поле заносили тех, у кого в семье когда-либо находили родовой или служилый Дар, хотя бы слабый: мальчика, который грел воду без огня; пушкарского сына, у которого запальные шнуры не гасли под дождем; дворянского недоросля с печатью на запястье. Против каждого такого имени оставляли место для отметки по Табели о Даре.

Иван знал эту таблицу по виду, не по надежде. Вверху шли классы, названия чинов и пустые клетки для печатей; ниже, у самого края листа, теснились примечания о негодности, откате, недостатке меры и направлении в обычные полки. Филимон однажды дал ему переписать испорченный лист для упражнения, и Иван запомнил, как легко рука выводила чужие возможности. Красное поле всегда выглядело как дверь, поставленная прямо на бумаге. Для таких, как Иван, дверь была нарисована, но ручки на ней не было.

У полкового капитана, стоявшего у лекарского шатра, от этой таблицы портилось лицо. Он принимал рекрутов по росту, зубам и годности плеча к ружью, а красное поле забирало у него людей в другие руки: в Магическую стражу, в коллегии, к пушкарским мастерам, иногда сразу под дворянский надзор, если кровь оказывалась старше кафтана. Каждый такой уход значил дыру в ротном счете. Дворяне злились иначе. Они не спорили с Табелью вслух, но смотрели на красные строки так, будто государь велел мерить серебро одной гирей с крапивным волокном.

Ближе к полудню из дальнего шатра вынесли мерный камень.

Сначала вышли двое солдат с железными стойками, потом подъячий Магической стражи с кожаным футляром, а за ним четверо нижних чинов потащили на ремнях темную плиту, закрытую серым войлоком. Двор притих не сразу. Рекруты продолжали переговариваться, лекарь ругнул кого-то за скрытую грыжу, у ворот заржала лошадь. Потом войлок сняли, и шум опал, словно кто-то положил мокрую ладонь на рот всему двору.

Камень был меньше, чем Иван представлял по рассказам: не жертвенник, не престол, а неровная плита по пояс высотой, черная с зеленоватыми жилами. По краям ее опоясывала медная решетка с насечками. Часть насечек была тонкой, как письмо, часть — грубой, солдатской, с выбитыми цифрами чинов. В центре лежала круглая впадина, отполированная множеством ладоней.

Инспектор при камне был сухой человек с острым носом и выбритым подбородком. На нем сидел темно-зеленый кафтан Магической стражи; у ворота поблескивала казенная печать в виде двуглавого орла, обвитого цепью. Он прошел вдоль стола, не глядя на рекрутов, взял у Филимона отдельную ведомость и скользнул взглядом по строкам.

— Родовые и служилые кандидаты отдельно? — спросил он.

— Отмечены красным полем, ваше благородие, — ответил Филимон. — Простые рекруты черным. Грамотные с зарубкой.

Инспектор постучал ногтем по полю.

— Кто ставил зарубки?

Филимон кивнул на Ивана.

— Сын мой. Рука твердая. Под моим надзором.

Инспектор впервые посмотрел на Ивана. Взгляд был быстрый, как у человека, который проверяет не лицо, а пригодность предмета.

— Возраст?

— Семнадцатый идет, — сказал Филимон.

— Дар?

Филимон даже не обиделся. Вопрос был такой же казенный, как "рост" или "рубаха своя".

— Нет.

Иван молчал. Если бы он ответил сам, вышло бы глупо: будто он оправдывается в отсутствии вещи, которой у таких, как он, не бывает. Мать, когда была жива, иногда говорила, что у него пальцы чувствуют бумагу лучше чужих. Но бумага — не Дар. Чернила, цифры и память на лица не заставляют мерные камни светиться.

Проверка началась с дворян.

Первый юноша подошел лениво, но перед камнем все же выпрямился. Снял перчатку, приложил ладонь к впадине. Медная решетка вздрогнула, по тонким насечкам прошел голубо-

ватый свет. Не сильный, но чистый. Инспектор назвал род, чин, отметил что-то в своей книге. Юноша отошел, старательно не улыбаясь.

Второй держал ладонь дольше. У него на виске выступил пот, хотя ветер был холодный. Свет получился желтым, неровным, с рывком у края. Один из дворян под пологом тихо хмыкнул. Инспектор поднял бровь, но записал и его.

Потом пошли служилые кандидаты — дети урядников, пушкарей, приказных людей с давними справками о малых проявлениях. У одного нагрелась медная цифра восьмого класса, другой только заставил камень покрыться инеем. Третьего отдернули, когда он начал синеть губами: поток пошел в него обратно, и лекарь, ворча, растирал ему пальцы спиртом.

Иван записывал результаты во вспомогательную ведомость. Ему нравилась ясность этого занятия. Чужая сила превращалась в строки: имя, происхождение, цвет, насечка, откат. Пока рука шла по бумаге, мир оставался разложенным по графам.

— Песку, — сказал Филимон.

Иван подал песочницу. Та оказалась почти пустой: мокрый ветер сдувал песок с листов, и за утро они извели больше половины.

— У подъячего спроси, — сказал отец. — У них сухой есть. Быстро.

Иван поднялся, придерживая полы старого кафтана. Ноги затекли от сиденья, сапоги сразу ушли в грязь по щиколотку. Он обошел стол, пропустил лекаря с мальчишкой, которого вели под руки, и направился к шатру Магической стражи.

У камня как раз меняли ремень на боковой стойке. Один из нижних чинов, ругаясь сквозь зубы, пытался подтянуть мокрую кожу, другой держал медную скобу, чтобы плита не качнулась. Подъячий с футляром стоял рядом и пересчитывал пробирки с мерным пеплом.

— Сухого песку для полкового стола, — сказал Иван, останавливаясь у края настила.

Подъячий не повернулся.

— После замера.

— Бумаги мокнут.

— У всех мокнут.

Скоба у нижнего чина вывернулась из пальцев. Плита качнулась на ремнях, не сильно, но достаточно, чтобы подъячий отшатнулся с пробирками. Иван шагнул вперед и подхватил медную стойку обеими руками. Он сделал это так же, как подхватил бы падающую чернильницу: без мысли о праве, только чтобы не дать тяжелой вещи ударить по ноге человеку.

Ладонь легла на холодную медь рядом с черной жилой камня.

Сначала ничего не случилось.

Потом под кожей у Ивана дернулась тонкая, болезненная нитка. Не в пальцах — глубже, где не бывает обычной боли. Он вдохнул, чтобы сказать нижнему чину держать крепче, и не смог выдохнуть. Черная плита под рукой стала не гладкой и холодной, а глубокой, как колодец. Внутри нее что-то поворачивалось медленно, с каменным скрежетом, но Иван слышал не скрежет.

Он слышал имена.

Не голоса. Не слова, произнесенные людьми. Скорее, чернильные следы, поднятые из бумаги и протянутые через мокрый воздух двора. Ермолай Березень, ожог на щеке. Микифор Трубин, зуб передний выбит. Федотка с Вознесенского яма, двенадцати вершков недомер. Имена, возраст, двор, примета. Строки шли одна за другой, сбивались, цеплялись за цифры, за кресты неграмотных, за отпечатки пальцев.

Иван попытался убрать руку.

Медь удержала его.

Решетка на камне вспыхнула не голубым и не желтым, как у дворянских юношей. Свет пошел белесый, почти бесцветный, но такой яркий, что насечки по краям стали черными. Удар

пришел снизу вверх. Настил треснул. Один нижний чин упал на спину. Подьячий выронил футляр, пробирки разбились в грязи, и мерный пепел лег серыми пятнами между сапогами.

— Руку! — крикнул кто-то.

Иван дернул плечом. Боль вошла в ладонь, как раскаленный гвоздь, и пошла к локтю. Камень ответил новым толчком. Медная решетка выгнулась, одна скоба лопнула и отлетела в сторону инспектора. Она ударила его под ключицу. Инспектор развернулся, будто его дернули за кафтан сзади, и упал на мокрый настил, прижимая руку к груди.

Двор взорвался криками.

Рекруты рванули назад, но у ворот их встретили приклады. Дворянские юноши под пологом вскочили; у одного на обруче заплесал желтый огонь. Лекарь бросил своего полусинего кандидата прямо на лавку и побежал к инспектору. Филимон опрокинул чернильницу, пытаясь выбраться из-за стола.

Полковой капитан первым схватился за саблю, но вытащил ее только на ладонь и остановился: против кого рубить, он не понимал. Нижний чин, державший скобу, сидел в грязи и смотрел на свои пустые руки, будто ремень еще мог быть между пальцев. Подьячий Магической стражи ползал среди осколков пробирок, собирая не стекло, а мокрый пепел, и шептал номера насечек, чтобы не забыть до записи. Один из рекрутов за воротами начал молиться вслух, сбился на середине и получил прикладом по ребрам не за молитву, а за то, что толкнул соседей.

Филимон добирался к сыну через стол, через упавшую скамью и чужие сапоги. Его лицо стало серым, старше сразу на десяток лет. Он не смотрел на камень, не смотрел на дворян, даже на инспектора с кровью у воротника посмотрел только краем глаза. Для него весь двор сжался до Ивановой руки, поднятой перед грудью, и до темного пятна под кожей. Филимон был писарем слишком давно, чтобы верить в исчезновение случившегося, но отцовская рука все равно потянулась к рукаву, будто ожог можно закрыть сукном и тем вернуть мир к утреннему порядку.

Иван все еще стоял у камня.

Рука оторвалась сама, когда вторая скоба лопнула внутри решетки. Вспышка оборвалась. Воздух стал тяжелым, кислым от горячей меди и паленой кожи. Иван посмотрел на ладонь и увидел темный знак в середине, там, где кожа касалась стойки. Знак не был ожогом от скобы. Он лежал под кожей, неровный, будто кто-то поставил казенную печать через мокрую бумагу и чернила расплзлись по живому мясу.

Филимон добрался до него и схватил за запястье. Пальцы у отца были холодные, жесткие.

— Не трогай больше ничего, — сказал он.

Иван хотел ответить, но рот не слушался. Он слышал, как инспектор хрипит на настиле. Хрип был влажный. Лекарь разрезал на нем кафтан, и под зеленым сукном показалась кровь. Не много, но достаточно, чтобы все смотрели уже не на камень, а на человека, которого камень ранил через Иванову руку.

— Кто его подвел? — крикнул дворянин с серебряным знаком. — Кто допустил безродного к мере?

— Он сам кинулся! — сказал нижний чин, тот, что держал стойку. — Плита пошла, он...

— Молчать! — крикнул подьячий, стоя на коленях среди разбитых пробирок. — Никто не говорит без записи.

Эти слова на миг вернули Филимона в себя. Он выпрямился, еще держа Ивана за запястье, и посмотрел на подьячего так, как смотрел на пьяных солдат, пытавшихся вырвать из книги свою фамилию.

— Запись будет, — сказал Филимон. — Сначала лекарь.

— Сначала двор закрыть, — сказал другой голос.

Голос был не громче остальных, но вокруг него сразу стало тише.

У ворот стоял офицер, хотя Иван не видел, когда он туда подошел. На нем был дорожный плащ без украшений, заляпанный грязью почти до пояса. Лицо узкое, обветренное; на левой щеке старый рубец тянул кожу к уху. Он снял перчатку и поднял ладонь. На запястье под рукавом вспыхнула казенная печать Магической стражи, ровная, тусклая, с железным оттенком.

— Ворота закрыть, — сказал офицер. — Рекрутов по десяткам. Дворянских кандидатов под полог, без родовых выбросов. Кто поднимет знак без приказа, пойдет в кандалы до комиссии.

Подьячий среди разбитых пробирок вытянулся, забыв о мокром пепле на рукавах.

— Господин капитан Нарбут, книга меры...

— Потом.

Дворянский юноша с обручем дернул подбородком.

— Вы кому грозите?

Нарбут посмотрел на него без злости.

— Тому, кто первым забудет, что ранен государев инспектор.

Обруч на руке юноши погас. Не сразу, но погас.

Нарбут прошел к камню. Он не подошел к Ивану сразу; сперва наклонился над инспектором, спросил лекаря коротко:

— Жив?

— Пока да. Скоба вошла мелко, но ключица...

— Увезете после описи.

— Ему лежать надо.

— Значит, опишь здесь.

Лекарь выругался в бороду и снова прижал тряпку к ране.

Нарбут повернулся к камню. Провел пальцами над лопнувшей решеткой, не касаясь. Белесый свет, оставшийся в насечках, дернулся к его руке и погас. На лице Нарбута ничего не изменилось, но он задержал дыхание на короткую долю, которую Иван заметил только потому, что сам все еще не мог дышать ровно.

— Имя? — спросил Нарбут.

Филимон ответил прежде, чем Иван успел открыть рот.

— Иван Векшин. Сын мой. При полковой канцелярии.

— Род?

— Без рода.

— Справки о Даре?

— Нет. И не было.

— Возраст?

— Семнадцатый идет.

Нарбут взял Иванову руку. Не за ожог, не грубо, но так, что выдернуться было нельзя. Осмотрел темный знак в середине ладони. Под большим пальцем Нарбута знак дрогнул, и Иван едва не согнулся: боль отозвалась не в коже, а в груди, где на миг снова зашуршали имена.

— Не родовой, — сказал Нарбут.

Дворяне у стены заговорили сразу, перебивая друг друга. "Порча". "Обман". "Прикоснулся не к камню, а к решетке". "Безродные не дают такого хода". Кто-то сказал про бесовское заражение, и несколько рекрутов перекрестились так быстро, будто боялись опоздать.

Филимон сжал Иваново запястье сильнее.

— Он при мне вырос, — сказал он. — Ни припадков, ни огней, ни...

— Я не спрашивал, болел ли он в детстве, — перебил Нарбут. — Подьячий, книгу сюда. Полковую ведомость тоже.

Филимон не двинулся.

— Ведомость под моей ответственностью.

— Теперь под общей, — сказал Нарбут. — И под печатью Магической стражи.

Иван видел, как отец выбирает между спором и сохранением бумаги. Спорить с человеком, который только что остановил двор, было глупо. Отдать ведомость — все равно что выпустить из рук часть собственной кожи. Филимон разжал пальцы и кивнул Ивану. Тот пошел к столу сам, потому что отец все еще держал его взглядом, но не запястье.

Стол выглядел так, будто по нему прошел бой. Чернильница лежала на боку, черная лужа впиталась в край второй ведомости. Песок намок и стал комками. На чистом листе, где Иван утром начал ровную шапку списка, расплзлась клякса. Он взял краснопольную ведомость обеими руками, стараясь не касаться ладонью кожи переплета. Темный знак пульсировал под пальцами.

Ермолай Березень стоял в своем десятке у коновязи. Ожог на щеке у него побелел от холода. Когда Иван проходил мимо, Ермолай посмотрел не на его лицо, а на руку. Взгляд был испуганный, но не злой. Иван почему-то запомнил это яснее, чем крики дворян.

Нарбут положил ведомость рядом с книгой Магической стражи. Сверил первую страницу, потом вторую. Остановился на строках с отпечатками пальцев.

— Во время вспышки что слышал? — спросил он у Ивана.

Филимон дернулся.

— Он удар получил.

— Я спросил его.

Иван посмотрел на мокрую бумагу. Если сказать "имена", все станет хуже. Если промолчать, Нарбут все равно найдет способ спросить снова, при людях, при камне, при раненом инспекторе.

— Строки, — сказал Иван.

— Какие строки?

— Из списков.

— Читал?

— Нет.

— Вспоминал?

Иван сглотнул. Горло саднило, будто он наглотался дыма.

— Они сами шли.

У подъячего дрогнуло перо. Нарбут посмотрел на него, и тот быстро опустил голову к книге.

— Всем оставаться во дворе, — сказал Нарбут. — До отдельного приказа никто не выходит. Полковой писарь Векшин и его сын — при канцелярии, под караулом. Камень накрыть, решетку не трогать. Раненого инспектора перенести в лекарский шатер после описи скобы.

— На каком основании? — спросил дворянин с серебряным знаком. Он уже овладел собой и теперь говорил холодно. — Если мальчишка заразил меру, его надо передать духовной комиссии.

Нарбут повернулся к нему.

— Если заразил, передадим. Если проявил служилый Дар, запишем. Если кто-то помог ему подойти к камню, повесим за саботаж государевой меры. Пока не установлено, что случилось, основание одно: у меня на дворе ранен инспектор и сломана решетка.

— У вас?

— С этой минуты.

Филимон медленно выдохнул. Иван стоял рядом и чувствовал, как грязь холодит сапоги, как ладонь горит под темным знаком, как за спиной рекруты шепчут его имя уже иначе. Не как имя писарского сына, который быстро пишет и редко поднимает глаза. Как слово, которое лучше произносить тихо, пока не понятно, принесет оно беду или чин.

Камень накрыли войлоком. Под серой тканью еще долго проступал слабый свет, не цветной, не родовой, похожий на зимнее небо перед снегом. Иван смотрел на него, пока Филимон не взял его за плечо и не повел к канцелярии.

У самой двери отец остановился.

— Внутри молчи, пока не спросят, — сказал он.

Иван кивнул.

— И руку не показывай без приказа.

Иван снова кивнул, хотя рукав уже прилип к ожогу, и спрятать его было невозможно. За спиной закрывали ворота. Железная полоса вошла в скобу с глухим ударом, от которого по двору пробежала новая тишина. В этой тишине инспектор застонал в лекарском шатре, подъячий Магической стражи заскреб пером по книге, а Иван впервые за весь день подумал не о списках, не о чернилах и не о будущей ставке.

Он подумал, что домой его сегодня не отпустят.

Глава 2: Печать без рода

Канцелярия после закрытия ворот стала теснее, чем была утром. Те же стены из сырого бревна, те же лавки, шкаф с полковыми книгами, крючья для мокрых плащей у двери, но теперь у порога стоял караульный с ружьем, а на окне, где обычно сушили черновики, лежала сабля Нарбутова десятского. Сталь не была обнажена. Ее хватало и в ножнах.

Ивана посадили на низкую скамью у печи, которая дымила в щель и не грела. Рука под рукавом горела так, будто ладонь все еще держала медную стойку. Когда он шевелил пальцами, темный знак под кожей стягивался к середине, потом медленно расползлся обратно. Не кровь, не синяк. Живая печать без лица.

Филимон сидел напротив за столом. Перед ним лежали книги, но он не писал. Перо осталось в пальцах, кончик высох и раздвоился. Иногда отец поднимал глаза на дверь, за которой подъячий Магической стражи ходил туда-сюда по настилу, а потом снова смотрел на чистый лист. Чистый лист за день стал самой опасной вещью в комнате: на нем еще можно было написать что угодно.

Снаружи, со стороны лекарского шатра, стонал раненый инспектор. Его перенесли туда не сразу, как и сказал Нарбут: сначала описали скобу, место удара, трещину в решетке, след от Ивановой ладони на стойке. Потом лекар велел двум солдатам держать инспектора за плечи, потому что при вытаскивании суконного обрывка из раны тот пытался встать и требовал книгу. У него был тихий, злой голос, и сквозь бревна канцелярии он казался голосом человека, которого обидела не боль, а беспорядок.

— Воды ему можно? — спросил Иван.

Филимон не сразу понял, о ком речь.

— Инспектору?

Иван кивнул.

— Лекарь знает.

— Он стонет.

— Живой стонет, — сказал Филимон. — Мертвый удобнее для бумаги.

Он сам услышал, что сказал, и отвернулся к окну. На мутном стекле дрожали отражения людей во дворе. Рекрутов держали по десяткам, как приказал Нарбут. Те, кто утром шумел и шутил, теперь стояли молча, притоптывая в грязи, а унтеры не били без нужды: после раненого инспектора каждый лишний удар мог попасть в чужой протокол.

Иван хотел попросить отца не говорить так, но не нашел слова, которое не прозвучало бы детским. До полудня он мог ошибиться в завитке буквы и получить короткое замечание. Теперь каждое движение рукой могло стать поводом для кандалов, молитвы или дворянского крика о порче.

Дверь открылась. Вошел Нарбут, занеся с собой холодный воздух и запах мокрого плаща. За ним протиснулся подъячий с книгой меры под мышкой. На руках у подъячего засох мерный пепел; серые разводы сделали его руки похожими на руки каменщика.

— Писарь Векшин, — сказал Нарбут, — кто имеет право брать ваши полковые книги без вашей отметки?

Филимон встал.

— Никто, кроме полкового командира и ревизора с печатью.

— Кто сегодня касался краснопольной ведомости?

— Я. Сын мой. Инспектор. Потом вы.

Подъячий дернул бровью на слове "сын", но промолчал.

— Нижние чины?

— Нет.

— Дворяне?

— Нет.

Нарбут положил на стол узкую дощечку с воском. На воске уже были три вдавленные метки: орел Магической стражи, полковой знак и неровный след скобы, будто железо тоже заставили расписаться.

— Тогда ведомость останется здесь. Не в шатре. У вас под замком и под моим караулом. Ночью никто не входит без двух подписей.

Филимон коротко моргнул. Он ожидал, что книгу унесут.

— Под моей ответственностью?

— Под общей, я уже сказал. Это хуже. Теперь ваша ошибка станет моей, а моя — государственной.

Подьячий раскрыл книгу меры и положил рядом маленький лист с перечнем вещей: решетка, скобы, войлок, футляр, пробирки, пепел, ведомость. Иван смотрел на почерк. Рука у подьячего была быстрая, дробная, с мелкими крючками в конце слов. В каждом крючке торчало желание записать больше, чем видел.

— Его домой отпустят? — спросил Филимон.

В комнате стало слышно, как печь втягивает дым обратно.

Нарбут не посмотрел на Ивана.

— Нет.

— До дома три улицы. Матери у него нет, но в избе...

— Нет.

— Вещи принести надо. Рубаху. Сапоги сухие. Ему рукав резать придется.

Нарбут повернулся к караульному:

— Пошлешь человека с полковым писарем. Писарь в дом не входит. Передают через порог. Соседей не зовет. О случившемся не говорит.

— Я сам знаю, где у меня дом, — сказал Филимон.

— Вот потому и не войдете.

Филимон сжал высохшее перо. Оно хрустнуло и сломалось в пальцах.

Нарбут услышал хруст, но не сделал из него замечания.

— Если вы сегодня начнете спасать сына словами у собственного порога, завтра половина слободы даст присягу, что он с рождения зажигал воду взглядом. Другая половина скажет, что ваша покойная жена ходила к ведьмарю. Третья вспомнит долги, обиды и недоданные меры овса. На комиссии это будет не защита, а навозная куча под протоколом.

Филимон побледнел не от оскорбления. Он слишком хорошо знал, как люди вспоминают то, чего не было, если им дать место в строке.

— Значит, молчать?

— Сейчас — да.

Иван поднял глаза.

— А мне?

— Тебе тем более.

Нарбут сказал это без нажима, но Ивану стало холоднее. До сих пор его молчание было чем-то между послушанием и страхом. Теперь оно становилось приказом, а приказ не исчезал от того, что человеку было больно.

К вечеру у ворот собрались дворяне.

Сначала пришли двое юношей с утреннего смотра, потом подъехал человек в темном кафтане с серебряной цепью на груди, затем еще трое, старше и тяжелее, с меховыми воротниками, мокрыми от тающего снега. Их лошади били копытами у воротной канавы, а слуги держали над господами плащи так, чтобы вода стекала на спины слуг. Родовые знаки у них

были выставлены наружу: ладонь, копые, три зубца, звериная морда, такая стертая, что Иван не понял, волк это или собака.

Дворяне не входили. Нарбут не велел открывать ворота.

Они говорили через решетку ворот, через караульного десятского и через подьячего, который выбегал с дощечкой, возвращался, снова выбегал. Иван видел это из окна канцелярии. Он не слышал всех слов, но отдельные пробивались сквозь стекло и бревна.

— Духовная комиссия.

— Порченная мера.

— Безродная кровь не дает белого хода.

— Вы хотите занести это в служилую строку?

Нарбут вышел к ним без плаща. Он встал по внутреннюю сторону ворот, так что дворяне оставались на улице, а он — на государевом дворе. Это было видно даже Ивану: две доски, две грязные лужи, а между ними граница.

Человек с серебряной цепью снял перчатку. На указательном пальце у него блеснуло кольцо с печатью.

— Капитан, — сказал он громко, чтобы слышали за воротами и во дворе, — в уезде не бывало безродного Дара такой меры. Либо мальчишка скрытая кровь, либо камень испорчен, либо хуже.

— Хуже уже случилось, — ответил Нарбут. — Ранен инспектор.

— Инспектор ранен железом, а не мальчишкой.

— Железо отлетело не само.

— Вот именно. Родовой юноша при законной проверке не ломает решетку.

Нарбут провел большим пальцем по краю рукава, где под сукном лежала его казенная печать.

— В книге меры отмечен желтый рывок и край отката у родowego юноши. Вы это видели. Один из молодых дворян подался вперед, но старший с цепью остановил его ладонью.

— Не вам судить родовую меру.

— Сегодня мне судить, кто входит во двор. Комиссия разберет остальное.

— Какая комиссия?

— Та, до которой он доедет живым.

После этих слов у ворот стало тише. Не потому, что дворяне согласились. Они услышали, что Нарбут уже ставит вопрос не о том, кто прав, а кто может попытаться сделать так, чтобы вопрос исчез.

Иван отступил от окна. Темный знак под рукавом дернулся, будто услышал чужой голос. В тот миг он понял, что дворяне боятся не его одного. Они боялись строки, в которую его можно было вписать. Если безродного сына писаря запишут в служилый Дар не как уродство, не как порчу, не как подмененную кровь, а как государево дело, тогда красное поле в ведомости перестанет быть дверью без ручки. Оно станет проходом, который кто-то в грязных сапогах уже толкнул плечом.

Ночью первая проверка началась без торжества.

Мерный камень не стали снова открывать. Его оставили в шатре, под войлоком, с караулом у входа. Нарбут принес в канцелярию другое: плоскую железную рамку с тремя медными гвоздями, книгу присяг в потемневшем переплете, миску с холодной водой и маленькую серебряную пластину, на которой были выцарапаны родовые насечки для грубой сверки. Подьячий нес это все так осторожно, словно каждая вещь могла упасть не на пол, а в будущий донос.

Ивана посадили за стол. Рука лежала ладонью вверх на чистой тряпке. Рука была не его. Его рука умела держать перо, поднимать песочницу, закрывать чернильницу, чтобы туда не попала муха. Эта лежала перед чужими людьми с темным знаком в середине и ждала, когда ее снова заставят отвечать.

Филимона поставили у шкафа. Ермолая привели последним. Он был без пояса: веревку отобрали вместе с ножом, хотя ножа у него не было. Ожог на щеке казался еще светлее в свете сальной свечи.

— Я чего? — спросил Ермолай у караульного.

— Стоять, — сказал тот.

Нарбут не стал объяснять ему мир. Он открыл полковую ведомость на первой странице с отпечатками.

— Твое имя здесь?

Ермолай покосился на лист.

— Я читать не умею.

— Палец узнаешь?

Ермолай наклонился и сразу отпрянул, будто отпечаток мог схватить его за нос.

— Мой.

— Хорошо. Стой там. Молчи, пока не спросят.

Нарбут положил серебряную пластину рядом с Ивановой ладонью, не касаясь кожи.

— Родовой отзвук, — сказал он подьячему, а не Ивану.

Подьячий записал.

Пластина была холодная, тусклая, с насечками чужих домов. Иван ждал боли, но боли не было. Было неприятное чувство, будто к его имени поднесли пустую чашку и прислушались, звенит ли она. Пластина молчала. Серебро не потемнело, не нагрелось, не дало искры.

Нарбут передвинул ее ближе.

Ничего.

— Еще, — сказал подьячий.

Нарбут взял Иванову руку за запястье и подвел пластину к самому знаку. Иван зажмурился. Внутри ладони дернулось, но не к серебру. Боль ушла в сторону, к столу, к книге, к тем местам, где бумага хранила имена.

— Родового отзвука нет, — сказал Нарбут.

Подьячий записал, не поднимая головы.

Филимон выдохнул так тихо, что Иван услышал только потому, что смотрел на него.

— Это хорошо? — спросил Иван.

Нарбут убрал пластину.

— Это убирает одну простую ложь. Простые логи любят возвращаться.

Он открыл книгу присяг. От старого переплета пахнуло кожей, плесенью и свечным дымом. На первых страницах были густые строки, написанные рукой, которой давно не было в живых. Ниже шли новые вклейки: имена полков, годы, печати, поправки, перечни тех, кто присягал не родом, а службой.

— Левую руку на стол. Правую не сжимать.

— Какую правую? — спросил Иван и сам понял глупость вопроса.

Нарбут посмотрел на обожженную ладонь.

— Ту, которая теперь отвечает раньше головы.

Он поставил железную рамку вокруг Ивановой руки. Три медных гвоздя вошли в пазы стола. Подьячий подвинул миску с водой. Вода была обычная, с соринкой у края. Иван смотрел на соринку, пока Нарбут читал не всю присягу, а куски: государево имя, служба, полк, обязанность стоять в строю, не оставлять знамени, не таить ведомой порчи, не выводить из счета живого и мертвого без приказа.

На слове "служба" знак в ладони потемнел.

На слове "счет" вода в миске пошла рябью.

На словах "живого и мертвого" Иван услышал шорох бумаги. Не такой сильный, как у камня. Тоньше, беднее, но узнаваемый. Будто кто-то в соседней комнате перебирал листы мокрыми пальцами.

— Больно? — спросил Нарбут.

— Нет.

Это была неправда, но не полная. Боль шла не от кожи, и на нее не подходило обычное слово. Иван чувствовал, как его грудь становится частью чужого шкафа с книгами, где все полки плохо прибиты и каждая строка тянет вниз.

Нарбут кивнул подьячему.

— Ведомость.

Филимон дернулся от шкафа.

— Не надо.

Нарбут не повернулся.

— Надо.

Подьячий раскрыл краснопольную ведомость. Иван увидел черную кляксу от утренней чернильницы на краю листа, увидел собственную строку, которую туда уже внесли. Она стояла не в красном поле и не в черном. Подьячий вписал ее отдельно, на пустом месте между графами, мелко и тесно: "Векшин Иван, писарский сын, прикосновение не по вызову, знак в ладони".

Ивану стало хуже от этой тесноты. Для него не нашли графы.

— Читай первое имя, — сказал Нарбут Филимону.

— Не мальчика мучить надо, а врача звать, — ответил тот.

— Читай.

Филимон подошел. Лицо у него было деревянное. Он наклонился к листу, хотя знал первые строки на память.

— Ермолай Березень. Двадцати лет. Слобода Верхняя Сиверка. Плечист. Ожог на щеке.

Ермолай переступил с ноги на ногу.

Знак в Ивановой ладони дернулся. Железная рамка тихо щелкнула, но не сдвинулась. Вода в миске помутнела у края. Иван услышал не голос Ермолая и не голос отца, а ту самую строку, только теперь она шла сквозь него медленнее, с грубой привязкой к живому человеку в дверях. Ожог на щеке. Отпечаток пальца. Вербка вместо пояса. Печь завалилась.

— Хватит, — сказал Филимон.

— Еще одно.

— Хватит.

Нарбут поднял глаза.

— Писарь Векшин, если вы сейчас сорвете проверку, за вас ее проведут люди, которым будет легче, если ваш сын окажется бесовским случаем. Я выбираю грубо, потому что быстро. Они выберут долго.

Филимон проглотил ответ. На шее у него дернулась жила.

— Микифор Трубин, — прочел он. — Зуб передний выбит. Двор...

Иван не дослушал. Строка пришла с неправильного края, будто кто-то сунул лист под дверь. Зуб. Черное пятно в улыбке. Подпись не его, крест чужой рукой. Потом имя пропало. Не оборвалось, а ушло туда, где его еще не удерживали.

Медный гвоздь в рамке нагрелся. Подьячий капнул на него водой. Пар поднялся тонкой ниткой.

— Казенный отклик на списки есть, — сказал Нарбут.

Подьячий записал.

— На присягу есть.

Записал.

— Родового нет.

Записал.

— Этого достаточно? — спросил Филимон.

— Нет. Но достаточно, чтобы не отдать его духовным до утра.

Ермолай, все это время стоявший у двери, вдруг сказал:

— Он же не звал.

Все посмотрели на него.

Ермолай покраснел под ожогом.

— У камня. Он не звал ничего. Стойку держал.

Подьячий снова дернул пером, но Нарбут не велел писать.

— Ты видел?

— Я у коновязи был. Видел, как после. Но нижний чин говорил. Тот, что скобу держал.

Плита пошла, он сказал.

— Чужие слова не свидетельство.

— А если он сам скажет?

— Тогда будет его свидетельство.

Ермолай замолчал. Иван посмотрел на него и вспомнил испуганный, но не злой взгляд у коновязи. Не защита. Не дружба. Просто человек не хотел, чтобы строку повернули не тем концом.

Проверку закончили далеко за полночь. Ивану перевязали ладонь чистой тряпкой, хотя знак был под кожей и перевязка помогала только чужим глазам. Его оставили в канцелярии на той же скамье. Караульный сменился, потом сменился еще раз. Филимону разрешили сидеть за столом, но не выходить без караула.

Перед рассветом отец все-таки нашел бумажный выход.

Иван проснулся от звука ножа. Не от шага, не от голоса, а от сухого скребка по странице. В печи остались угли; свет от них был красный и низкий. За окном двор спал по-военному, с людьми у ворот и лошадьми под седлами, готовыми к чужому приказу.

Филимон сидел за столом. Перед ним лежал дорожный реестр, не краснопольная ведомость, а новая книга, куда вписывали тех, кого надлежало отправить из уезда с конвоем. Рядом стояла песочница, открытая чернильница, свеча, затененная ладонью. Отец работал маленьким ножом, снимая верхний слой бумаги так осторожно, как снимают кожу с раны.

— Батя, — сказал Иван.

Филимон не вздрогнул. Значит, слышал, что сын проснулся.

— Молчи.

Иван сел. Голова гудела после проверки, рука была тяжелая.

— Что ты делаешь?

— Исправляю ошибку.

— Какую?

— Тебя в дорожный реестр рано внесли. До приказа. Поспешили.

Иван видел строку. "Векшин Иван Филимонов, писарский ученик, к отправлению при капитане Нарбуте". Конец строки был уже счищен. На месте слов о Нарбуте белела шершавая ранка бумаги.

— Не надо.

— Ложись.

Филимон взял перо. На черновом обрывке рядом уже была приготовлена новая запись: "горячка после ранения руки, оставлен при полку до лекарского осмотра". Не оправдание навсегда. Отсрочка. Маленькая щель в стене, через которую отец пытался протолкнуть сына, пока стена не стала каменной.

— Нарбут увидит.

— Нарбут увидит то, что я ему покажу.

— У него подьячий копии снял.

— Не со всего.

— Он скобы описывал дольше, чем людей. Думаешь, твою подчистку не опишет?

Филимон положил перо, но руки от бумаги не убрал.

— Ты не понимаешь.

— Понимаю.

— Нет. Ты думаешь, если строка честная, она спасает. Строка не спасает. Строка отдает.

Написал — отдал. Не написал — еще можешь держать в руке.

Иван встал. Ноги плохо держали, но он дошел до стола без помощи.

— Если меня вычеркнуть, это будет не пустое место. Это будет место, которое все начнут искать.

Филимон посмотрел на него снизу вверх. В темноте он казался не старым, а почти больным.

— Пусть ищут меня.

— Найдут.

— Значит, найдут.

Иван протянул перевязанную руку к реестру. Филимон резко накрыл книгу ладонью.

— Не трогай.

— Тогда ты тронь. Верни как было.

— Я твой отец.

— Потому и верни.

Слова вышли тише, чем Иван хотел. В них не было приказа. От этого Филимону стало больнее. Он отвел глаза к окну, где в стекле серел первый свет.

— Тебя повезут, — сказал он. — Там у них палаты, подвалы, чаши. Они умеют делать так, чтобы человек сам просил записать все, что нужно. Если я дам тебе день, может, найду...

— Что?

Филимон молчал.

— Кого? — спросил Иван. — Воеводу? Священника? Человека с родовой печатью, который скажет, что я не я?

Отец ударил кулаком по столу. Чернильница подпрыгнула, но не упала.

— Не говори так.

Иван сжал пальцы здоровой руки.

— А как? Если меня нет в реестре, я или сбежал, или ты скрыл. Если меня оставят как больного, лекарь должен подтвердить. Если лекарь подтвердит ложь, его повесят не будут, а тебя могут. Ты же сам учил: пустая строка громче ошибочной, если все знают, что там что-то было.

Филимон долго смотрел на счищенное место. Потом взял нож и, не поднимая его к бумаге, положил рядом.

— Ты думаешь, это храбрость?

— Нет.

— Что же?

Иван посмотрел на свою строку, на белую шероховатость в конце, на чернила, которые уже ждали новой лжи.

— Я не хочу, чтобы первое, что сделает мой Дар, было твоим преступлением.

Филимон прикрыл глаза. Когда открыл, они были сухие.

— Тогда пиши сам.

Он подвинул реестр к Ивану.

Иван взял перо левой рукой. Почерк вышел хуже, чем у утреннего писарского ученика: буквы дрожали, строка сползала, в слове "Нарбуте" хвост ушел ниже линейки. Но он восстановил счищенное: "к отправлению при капитане Нарбуте". Потом поставил рядом маленькую помету, которую Филимон обычно ставил после исправлений: "собственноручно подтверждено".

— Подпись, — сказал Филимон.

Иван подписался.

Перо оставило кляксу на конце фамилии. Филимон посыпал ее песком, подождал, стряхнул лишнее и закрыл книгу.

Утро пришло серым. Ворота открыли не настежь, а на одну створку. Во двор въехал курьер на усталой лошади; на седельной сумке висела печать Магической стражи, замотанная промасленной тканью. Нарбут принял пакет у крыльца канцелярии, вскрыл его при подьячем и Филимоне, прочел дважды.

— К полудню готовить конвой, — сказал он.

Филимон стоял прямо.

— Куда?

— К Петербургской Магической коллегии.

Иван ожидал этих слов со вчерашней ночи, но они все равно ударили не туда, где он ждал. Не в страх, не в больную ладонь. В ту часть жизни, где еще оставалась изба, вечерняя похлебка, отцовский кашель за перегородкой, переписанная чистовая книга, обещанная младшая ставка когда-нибудь потом.

Подьячий протянул Нарбуту дорожный реестр. Нарбут раскрыл на нужной странице. Его палец остановился на Ивановой строке, на счищенном и восстановленном месте. Капитан поднял глаза на Филимона, потом на Ивана.

— Ночью работали?

Филимон молчал.

— Я, — сказал Иван. — Подтвердил строку.

Нарбут смотрел на него долго. Потом закрыл реестр.

— Значит, поедешь не как вещь без записи.

Он не похвалил. Не смягчил голос. Подьячий записал помету в свою книгу, и на этом выбор Ивана стал частью дела.

У ворот снова стояли дворяне, но теперь не кричали. Они смотрели, как выводят лошадей, как караульные проверяют подпруги, как Ермолая и еще нескольких рекрутов ставят отдельно от остальных. На другом конце улицы, у лавки с пустой вывеской, стояли двое незнакомых людей в одинаковых серых кафтанах. Они не подходили к воротам, не спорили с караулом и не показывали родовых знаков. Один держал руки в рукавах, второй жевал сухую травинку и смотрел не на Ивана, а на окна канцелярии.

Нарбут заметил их сразу.

— Чьи? — спросил он у подьячего.

Тот прищурился.

— На местных не похожи.

— Вот и запомни лица.

Подьячий открыл книгу, но Нарбут остановил его.

— Не здесь. Они хотят увидеть, что мы заметили.

Иван услышал не все, но достаточно. Его строка уже ушла дальше полкового двора. Кто-то, чьего имени он еще не знал, смотрел не только на него, но и на книги, из которых вчера поднялись голоса.

Филимон принес узел с рубахой и сухими портянками. Передал Ивану не через объятие, а через стол, потому что рядом стоял караульный.

— Пиши, если дадут, — сказал отец.

— Куда?

— В полк. На мое имя.

Иван взял узел здоровой рукой. Хотел сказать, что вернется, но в канцелярии было слишком много книг, чтобы лгать при них так открыто.

— Я подпись не забуду, — сказал он.

Филимон кивнул. Этого оказалось достаточно, чтобы оба отвернулись.

Когда Ивана вывели во двор, мерный камень все еще лежал под войлоком. Его не грузили. Увезти должны были не камень, а человека, который заставил его ответить. Иван прошел мимо шатра, мимо коновязи, мимо места, где вчера стоял с горящей ладонью. Грязь подсохла коркой, но под коркой оставалась вода.

У ворот Ермолай посмотрел на него и тихо сказал:

— На Неву, значит?

— Говорят.

— Я там не был.

— Я тоже.

Караульный велел им не разговаривать. Лошади дернулись вперед. За спиной скрипнули створки ворот, и полковой двор начал закрываться так же медленно, как закрывается книга, в которой еще не высохли чернила.

Глава 3: Дорога на Неву

К вечеру первого дня дорога уже взяла с них первую плату.

Не кровь и не деньги. Грязь. Она лезла под колеса телег, липла к копытам, забивалась в ступицы, тянулась темными ремнями между колеями. Снег лежал только в канавах, серый, плотный, с лисьими следами по корке. Над полями стоял мокрый свет, в котором все казалось недосушенным: люди, лошади, казенные бумаги в кожаной сумке Нарбута, Иванова повязка на правой руке.

Конвой шел не быстро. Впереди ехали двое караульных, за ними Нарбут, рядом с ним подъячий Магической стражи с запечатанной книгой в седельном мешке. Ивана посадили на низкую телегу между двумя рекрутами, но не связали. На первый взгляд это было милостью. На второй — расчетом: вокруг него держали столько глаз, что веревка только мешала бы считать.

Ермолай шел пешком у заднего колеса, когда дорога поднималась, и садился на край телеги, когда лошади спускались в низину. Ожог на его щеке то краснел от ветра, то снова белел. Он почти не говорил с Иваном после ворот; караульный на первом перегоне ударил прикладом по борту телеги за одну лишнюю реплику, и Ермолай понял приказ быстрее грамотных.

Иван держал узел с рубахой между коленями. Внутри что-то перекатывалось при каждом толчке: сухари, запасная рубаха, портянки, деревянный гребень, который Филимон положил, должно быть, машинально. Правая ладонь под тряпкой болела не ровно, а по строкам. Иногда, когда колеса проходили по чужой межевой борозде или подъячий поправлял седельный мешок с дорожным реестром, темный знак стягивался к середине, и Иван слышал за кожей тонкий шорох. Не имена. Пока только бумажное трение.

На первой заставе караульные долго смотрели не на лица, а на пакет Нарбута.

Изба стояла на сухом пригорке, под кровлей из почерневшей дранки. Над дверью висела доска с выжженным двуглавым орлом, рядом — старая родовая дощечка местного владельца, красная от охры, с вырезанным зверем. Зверь был так неумело подновлен, что походил на корову с волчьей пастью. У порога топтались трое стрельцов, один писец в засаленном кафтане и дворянский посыльный с меховым воротом, который не снимал перчаток даже при письме.

— Магическая стража? — спросил писец, беря пакет двумя пальцами.

Нарбут не отдал.

— Читать будете с рук.

Писец покосился на посыльного.

— У нас заведено в книгу сперва.

— У вас заведено не терять дороги весной, — сказал Нарбут. — Сколько подвод до Торжковского стана?

— Две казенные. Третья боярская, но...

— Боярскую не брать.

Посыльный перестал писать. Перо зависло над дощечкой.

— Там хорошие кони.

— Хорошие кони не делают бумагу чище.

Иван сидел на телеге и видел, как писец провел ногтем по краю пакета, будто проверял не сургуч, а кожу на ране. На словах "Петербургская Магическая коллегия" у двери кто-то сплюнул в грязь. Никто не сказал прямо, что везут безродного с Даром. Этого и не требовалось. После полкового двора слух шел быстрее конвоя; он мог обгонять людей по корчмам, по хлебным обозам, по пастушьям мальчишкам, которым взрослые велели не слушать и потому рассказывали при них все.

Дальше дорога стала уже, зато людей на ней прибавилось. Навстречу тянулись обозы с досками для новой столицы: мокрая сосна, смоляные потеки, железные скобы в рогожных

мешках, крестьяне с лицами, застывшими от недосыпа. Они уступали конвою неохотно, но уступали. Увидев на Нарбутовом запястье казенную печать, одни снимали шапки, другие смотрели в сторону. Один возчик, худой и желтый от весенней лихорадки, перекрестил не Ивана, а дорогу за его спиной, словно хотел закрыть путь тому, что ехало следом.

У каждой малой заставы повторялась одна и та же работа, но ни разу одинаково. Где-то старший караула молча сверял сургуч и пропускал их, стуча зубами от холода. Где-то просили назвать число рекрутов и отдельно спрашивали, почему один писарский сын записан не в обычный полк, а к Магической коллегии. В одном селе попова жена вынесла кипятку караульным, но, увидев Иванову повязку, поставила ведро на землю и ушла, не дождавшись благодарности. Рекруты брали кружки сами. Ермолай подал Ивану последним, не глядя на его руку.

К вечеру второго дня Иван уже различал, где человек боится Нарбута, где — бумаги, а где — самой возможности, что строка о происхождении может оказаться слабее строки о службе. Это знание не делало его спокойнее. Оно только расширяло комнату полковой канцелярии до всей дороги: те же взгляды, те же попытки говорить через дверь, та же надежда, что чужая подпись возьмет страх на себя.

Так Иван понял, что Нарбут учит его не словами.

Капитан заставлял его сидеть рядом, когда показывали бумаги на заставе; велел держать левую руку на виду, а правую не прятать слишком глубоко, чтобы караульные видели повязку. Не объяснял, что значит каждый взгляд. Не называл боярских домов. Просто спрашивал после, уже в дороге:

— Кто первым посмотрел на книгу?

— Писец.

— Не глазами. Телом.

Иван вспоминал. Писец потянулся к пакету, посыльный перестал писать, старший караульный поправил ремень на пищали.

— Посыльный, — сказал он.

— Зачем?

— Ждал, чье имя будет в бумаге.

Нарбут кивнул и больше ничего не добавил.

Вечером они остановились на почтовой станции, где пахло кислой овчиной, конским потом и капустной водой. Станционный двор был вытянут вдоль дороги: ворота с покосившейся перекладной, сарай для подвод, низкая изба со светом в двух окнах, банька без трубы и черный колодец, вокруг которого лед таял кругом. На крыльце висела связка медных бирок для лошадей и переправ. Каждая бирка была пробита в верхнем углу, чтобы ее можно было надеть на ремешок. От ветра они стукались друг о друга сухо, как зубы.

Нарбут поставил караул сам. Двое у ворот, один у сарая, один при телеге Ивана. Рекрутов загнали под навес и дали им горячую воду с горстью крупы. Ермолай ел молча, прикрыв миску ладонью от мелкого дождя. Ивану подали то же самое в избу, но он вышел к навесу, потому что в избе на него смотрели хуже, чем на пустое место в расходной книге.

— Здесь можно? — спросил он у караульного.

Тот пожал плечом.

— Пока капитан не сказал обратно.

Иван сел на перевернутый обрубок рядом с Ермолаем. Тот подвинулся, чтобы не задеть его больную руку.

— У вас в Верхней Сиверке тоже так дороги уходят? — спросил Иван.

— У нас болот больше. Дорога там не уходит. Она тонет.

— Ты бывал на Неве?

— Нет. До Олонецких ям ходил с дядькой. Дальше люди чужие, вода злая.

Караульный хмыкнул.

— Вода у него злая. Ты у моря не был, деревня.

Ермолай посмотрел в миску.

— Потому и живой.

Это прозвучало не как острова. Просто так он считал дорогу: где человек был, где не был, где вернулся, а где про него только рассказывали.

После темноты пришел новый приказ.

Его принес не курьер Магической стражи, а станционный староста с мокрой шапкой в руках. Староста был маленький, круглый, с лицом, на котором страх давно стал хозяйственным выражением. За его плечом стоял чужой писарь, не местный: кафтан городской, сапоги мягкие, борода подстрижена ровно, на поясе висел кожаный пенал с костяными застёжками. Он не входил в избу, пока Нарбут не посмотрел прямо на него.

— Бумага к вашему конвою, господин капитан, — сказал староста.

Нарбут ел стоя у печи. Ложку он положил на край миски.

— От кого?

— С Торжкового стана прислали. По мостовому делу.

Чужой писарь достал из рукава свернутый лист, перевязанный серой нитью. Сургуч был темный, почти бурый. На оттиске стояла не казенная птица, а круглая печать старомосковской дорожной палаты: мост, три волны и маленький знак в нижнем поле, такой мелкий, что Иван с лавки увидел только разрезанную черту.

Подьячий Магической стражи потянулся за листом, но Нарбут взял сам. Прочел один раз. Второй. На третьем чтении поднял глаза на старосту.

— Клиновая переправа закрыта?

— Так в бумаге сказано.

— А вместо нее?

Староста облизнул губы.

— Через Мокринский мост. Там караул московской комиссии стоит. Дальше вас должны принять их люди до утренней дороги, чтобы государева стража лошадей не губила на разливе.

Подьячий перестал точить перо.

— Какая комиссия?

Чужой писарь ответил вместо старосты:

— Смешанная. Духовная и родовая. По заражению мер. В бумаге означено, что лицо без рода, тронутое незаписанным проявлением, надлежит довести к ним до дальнейшего следования. Остальной конвой может идти прежней дорогой.

В избе стало тесно от чужих дыханий. У печи капала вода с Нарбутова плаща. Иван почувствовал, как знак в ладони потянулся к слову "лицо", будто бумага попробовала назвать его без имени. Боль была слабой, но ясной.

Нарбут сложил лист по старым сгибам.

— Кто привез?

— Я, — сказал чужой писарь.

— На чем?

— На станционной лошади. Меня от Мокрина...

— Не спросил, откуда. Спросил, на чем.

Писарь моргнул.

— На серой кобыле.

Нарбут кивнул подьячему:

— Проверь.

Писарь чуть повернул голову к двери. Не сильно. Достаточно, чтобы караульный у порога перенес ладонь на саблю.

Иван смотрел на печать. Бурый сургуч был положен поверх старой складки. Так иногда закрывали чужие листы после того, как снимали прежнюю нить. Филимон заметил бы это раньше всех. У Ивана даже заболела грудь от мысли об отце, который сейчас, может быть, сидел в канцелярии и видел перед собой пустое место на лавке.

Под навесом снаружи кто-то закашлял. Ермолай стоял у окна, потому что в избу его не пустили, и смотрел на лист через мутное стекло. Его лицо расплоснилось в зеленоватой раме, ожог стал темным пятном. Он поднял руку, не решаясь стучать.

— Чего тебе? — спросил караульный.

Ермолай показал на дверь.

— Говорить надо.

— Потом.

Нарбут повернул голову:

— Сейчас.

Дверь открыли. Ермолай вошел, сгибаясь под низкой притолокой, снял шапку и остался у порога, оставляя за собой мокрые следы.

— Мокринского моста нет, — сказал он.

Староста дернулся.

— Как нет? Ты откуда знаешь?

— Там брод. По грудь коню летом, по шею весной. Мост хотели класть при покойном воеводе, да сваи унесло. Дядька мой там телегу утопил. Клиновая переправа выше, не ниже. Ее если закрыть, к Мокрину не гонят.

Чужой писарь посмотрел на Ермолая так, будто перед ним из половой щели вылезла грязная правда.

— Рекрутская память не опровергает дорожную палату.

— Дорога опровергает, — сказал Нарбут.

Он не повысил голоса. Двое караульных вошли почти одновременно: один от крыльца, второй из сеней. Староста начал креститься, но пальцы у него сбивались.

— Пакет, — сказал Нарбут чужому писарю.

— Я передал.

— Остальные листы.

— У меня нет...

Печная заслонка звякнула сама по себе. Нет, не сама: караульный у двери сделал шаг, и доска пола под ним прогнулась. В тот же миг человек, который весь вечер стоял при Ивановой телеге, оказался в дверях избы. Иван сначала узнал его по мокрому рукаву, потом по лицу: рябое ухо, короткая борода, маленькие глаза. Свой караульный. Из Нарбутова конвоя.

В правой руке у него был образок.

Он выглядел почти церковным: темная дощечка в серебряной окладке, потертая кайма, маленькая фигура святого с копьем. Но по краю шли не молитвенные буквы, а родовые насечки, мелкие и острые. Желтый свет проступил в них рывками, как в камне у дворянского юноши на первом смотре. Свет был неровный. Край отката.

Нарбут потянулся к печати на запястье.

Караульный ударил первым.

Не саблей. Образком.

Он бросил его вперед, как бросают камень в собаку. Желтая нить вышла из оклада и легла поперек комнаты. Подьячий закричал, потому что нить прошла через его перо и вспыхнула на железном ноже для очинки. Староста упал на колени. Чужой писарь рванулся к сеням, но Ермолай, стоявший у двери, подставил плечо, и оба ударились о косяк.

Иван увидел трещину раньше, чем понял, что смотрит.

Она была не в дереве образка и не в серебре. В самом ходе. Желтая нить шла к Нарбутовой казенной печати, но у середины комнаты проваливалась в пустой, плохо заложенный узел, как строка, вписанная поверх соскоба. Кто-то торопился. Кто-то дал караульному чужую родовую вещь и велел ударить ею по государеву знаку, не проверив, выдержит ли рука носителя.

— Ложись! — крикнул Нарбут.

Поздно.

Иван поднял правую руку.

Повязка была сырая от дороги и пота. Тряпка прилипла к коже; когда он разжал пальцы, ткань лопнула по старому сгибу. Темный знак раскрылся под ней не светом, а холодом. В грудь вошел шорох: дорожная книга, медные бирки у крыльца, имена лошадей, которые писцы записывали хуже людей, Мокрин, Клиновая, пустая строка для передачи лица без рода. Слова потянулись к желтой нити, и Иван не стал ждать приказа.

Он ударил не силой. Он ткнул туда, где нить врала о собственной дороге.

Комната разорвалась звуком мокрого дерева.

Образок дернулся в руке караульного, как живой. Желтая нить сжалась обратно, но не вошла в оклад; она прошла через пальцы, выжигая их изнутри. Караульный завыл. Два пальца — средний и безымянный — сорвались вместе с серебряной пластиной, ударились о стену и упали в ведро с грязной водой. На мгновение никто не двинулся. Потом кровь пошла сразу, темная, густая, с запахом железа и паленой кости.

Иван стоял с поднятой рукой. В ладони не было кожи. Так ему показалось. На деле кожа была, но знак под ней стал черным до синевы, а по запястью побежали тонкие красные линии. В ушах стучали не сердца и не копыта. Стучали печати: казенная на Нарбуте, дорожная на поддельном листе, маленькие родовые насечки на треснувшем образке. Каждая требовала, чтобы ее признали главной.

Нарбут ударил караульного в лицо рукоятью сабли. Тот упал на бок, прижимая искалеченную руку к животу. Второй караульный схватил чужого писаря у двери. Ермолай, все еще держа его плечом, хрипел, потому что удар пришелся ему в ребра.

— Живого, — сказал Нарбут.

— Он пальцы...

— Живого.

Подъячий ползал по полу, собирая не пальцы, а листы. Привычка у него была крепче ужаса. Он поднял поддельный пропуск, посмотрел на расплывшийся сургуч и тихо выругался.

Иван опустил руку. Его сразу вырвало в угол, на старую солому у печи. Ничего, кроме кислой воды, не вышло. Он не помнил, когда ел в последний раз. Нарбут подошел, взял его за плечо и поставил к стене.

— Кто велел?

Иван не понял, что вопрос к нему.

— Кто велел бить?

Караульный на полу мотал головой. Кровь шла между пальцами второй руки; он уже не кричал, только втягивал воздух с тонким свистом.

— На дороге... сказали... — выдавил он.

— Кто?

— Серый... у лавки... не знаю имени...

Нарбут не посмотрел на Ивана. Это было хуже, чем если бы посмотрел.

— Перевязать. Пальцы в тряпку, если найдете. Писаря связать. Старосту отдельно. Рекрутов поднять. Выходим до рассвета.

— Лошадей не сменили, — сказал подъячий.

— Сменим на следующей станции.

— До нее семь верст.

— Значит, семь.

Они вышли еще в темноте.

Дождь перестал, но с крыши продолжало капать. На дворе пахло мокрой золой и кровью, которую не успели смыть с порога. Рекруты стояли под навесом с мисками в руках; многие так и не доели. Ермолай держался прямо, но дышал неглубоко. Чужого писаря посадили на телегу между двумя караульными, старосту оставили под замком в собственной кладовой до прихода следующего наряда. Подкупленного караульного положили в заднюю подводу, где раньше лежали мешки с овсом.

Ивана Нарбут посадил рядом с ним.

— Я не лекарь, — сказал Иван.

— Я знаю.

— Зачем?

Нарбут проверил ремень на седле. Его казенная печать на запястье потускнела; по краю кожи виднелся ожог, свежий, тонкий, как след от раскаленной проволоки.

— Чтобы ты слышал, как человек живет после твоей удачи.

Телега тронулась. Раненый караульный лежал на боку, лицом к Ивану. Ему дали тряпку в зубы, но он все равно стонал, когда колесо попадало в колею. Правая рука была обмотана наскоро; через повязку проступали темные пятна. Два пальца завернули отдельно и положили в деревянную чашку, потому что лекарь на следующей станции мог приказывать другое. Чашка стояла у Ивановых ног и подпрыгивала на каждом ухабе.

Сначала Иван пытался смотреть в сторону. Потом понял, что Нарбут едет так, чтобы видеть его лицо.

— Он ударил первым, — сказал Иван.

— Запишут.

— Он бы вас убил.

— Возможно.

— Я увидел трещину.

— Это тоже запишут.

Слова не помогали. Они ложились рядом с чашкой, с мокрой тряпкой, с хрипом. Иван хотел сказать, что не хотел пальцев, не хотел крови, не знал, как остановить иначе. Но в канцелярии он сам говорил отцу: пустая строка громче ошибочной. Здесь пустым местом были два пальца, которых уже не было на руке.

К утру они дошли до следующей станции. Лошади дрожали от усталости. Подьячий, серый от бессонницы, сел на перевернутый ящик у ворот и начал писать протокол прямо на колене. Нарбут диктовал коротко: ложный мостовой пропуск; Мокринский мост, фактически отсутствующий; показание рекрута Ермолая Березня о дороге; нападение караульного с родовым образком; самовольное применение силы Иваном Векшиным; увечье правой руки нападавшего, два пальца утрачены.

На слове "самовольное" Иван поднял глаза.

Нарбут не смягчил формулировку.

— Так было, — сказал он.

— Я спас конвой.

— И это было.

Подьячий макнул перо.

— В какой строке ставить?

Нарбут посмотрел на восток. Там за мокрыми елями светлело небо, ровное, без тепла. Дорога на Неву уходила дальше, к новой столице, где леса вокруг каменных палат торчали, как ребра недостроенного зверя.

— В обеих, — сказал Нарбут. — Пусть Коллегия сама выбирает, какую читать первой.

Иван сидел на низком крыльце станции. Правая рука лежала на коленях, перевязанная заново, тяжелая и чужая. Из конюшни вынесли раненого караульного; он был жив, бледен, зол и смотрел на Ивана так, будто тот забрал у него не пальцы, а прежнее имя. Ермолай помогал запрягать свежих лошадей, время от времени хватаясь за ребра. Когда их взгляды встретились, он не отвел глаз, но и не улыбнулся.

К полудню конвой снова пошел на север. Подьячий отправил вперед нарочного с протоколом и треснувшим образком, завернутым в промасленную ткань. Иван видел, как пакет уходит по дороге быстрее их, подпрыгивая у седла чужой лошади. В нем лежали поддельный пропуск, осколки серебряной окладки, кровь на тряпке и несколько строк о том, что безродный юноша умеет ломать родовые ходы без приказа.

Когда вечером над низинами поднялся туман, впереди впервые пахнуло Невой: сырой водой, свежей смолой, камнем, который еще не успели обжить. Иван ехал молча. На этот раз молчание не было приказом Нарбута. Оно держалось рядом с чашкой, которую на прошлой станции вымыли, но не дали Ивану забыть, зачем она понадобилась.

Глава 4: Коллегия мер и крови

Петербург встретил Ивана не башнями и не пушечным громом, о котором болтали в уездных трактирах, а мокрым камнем, поставленным среди леса.

Над Невой лежал низкий туман. Из него выступали сваи, леса, крыши недостроенных палат, черные ребра подъемных кранов, мокрые мачты барок у пристани. Камень здесь еще не успел стать городом: по швам между плитами сочилась вода, известка лежала на досках серыми комьями, у канав стояли солдаты с лицами людей, которым приказали охранять не место, а будущий порядок. Конвой Нарбута вошел во двор Магической коллегии через боковые ворота, потому что перед главным крыльцом разгружали телеги с медными трубами, железными решетками и ящиками, на которых красной краской были выведены номера палат.

Иван сидел на телеге рядом с раненым караульным и чувствовал, как запах Невы смешивается с кислым духом старой крови. Два пальца уже не лежали в чашке у его ног: на последней станции их забрал лекарский ученик, завернул в чистый холст и сказал, что прикладывать поздно, но по делу вещь годится. Раненый после этого перестал смотреть на Ивана. Он смотрел на повязку, будто там еще можно было найти отсутствующее.

У ворот Коллегии их встретили не чиновные приветствия, а счет.

— Людей сколько? — спросил караульный в темно-зеленом кафтане.

— Семь при конвое, один задержанный, один раненый, один под следствием меры, — ответил Нарбут.

— Книг?

Подьячий, посеревший за дорогу так, что его лицо стало одного цвета с невыспавшейся бумагой, снял с седла кожаный мешок.

— Книга меры полковая, дорожный реестр, протокол ночной станции, вещественный пакет.

Караульный посмотрел на Ивана только после слова "вещественный". Не на лицо. На руку.

Двор Коллегии был устроен так, будто всякая дорога должна была кончаться не дверью, а столом. Под навесом стояли писцы; у каждого — своя книга, песочница, нож для печатей, миска с водой и медная пластина для сверки казенных знаков. Через их руки проходили люди, лошади, ящики, раненые, доносчики, просители, даже мокрые балки с пристани, если на них была отметка для магического отвода. Никто не спрашивал, устал ли конвой. Нарбут отдал пакет, не выпуская его до тех пор, пока писец не положил рядом свою дощечку с печатью приема. Пальцы у капитана были спокойны, но Иван видел на его запястье тонкий ожог, оставленный ночным ударом образка.

Раненого караульного увели отдельно. Он сделал три шага сам, потом колени у него подломились. Двое санитаров подхватили его под руки. Перед тем как его внесли в боковую дверь, он повернул голову. На лице уже не было той злой силы, с которой он смотрел на Ивана на станции. Было что-то хуже: человек пытался запомнить чужое лицо так, чтобы потом не перепутать его ни с приказом, ни с образком, ни с тем серым у лавки, чьего имени он не знал.

Иван хотел отвернуться, но Нарбут положил ладонь ему на плечо.

— До конца.

Санитары внесли раненого внутрь. Дверь закрылась. Только после этого Нарбут снял руку.

В Коллегию Ивана не ввели через верхние палаты. Его повели вниз.

Каменная лестница была свежая, края ступеней еще не сточились, но по ним уже текла вода. В стенах стояли железные кольца для фонарей; огонь в них горел неровно, желтый и холодный. Чем ниже они спускались, тем сильнее пахло медью, мокрым известняком, горелым

волосом и старой кожей переплетов. Иван слышал над головой стук двора — копыта, ругань возчиков, скрип блоков, — но каждый пролет делал эти звуки глуше, пока наверху не осталась только тяжелая жизнь города, а внизу начался другой порядок.

Подвальная палата была длинной, с низкими сводами. По стенам шли решетки для отвода потока: железные полосы, медные жилы, тонкие серебряные вставки в местах, где родовая проба могла ударить обратно. В центре стояли три стола. На первом лежали книги, на втором — чаши и иглы, на третьем — узкая рама с ремнями. В углу чернела водосточная яма, закрытая решеткой; от нее тянуло болотом.

— Вещи снять, — сказал писец у первого стола.

Иван не сразу понял, что это к нему. Узел с рубахой, который Филимон собирал руками человека, боявшегося забыть мелочь и тем погубить сына, забрали и раскрыли при нем. Сухари пересчитали. Рубаху развернули. Портянки потрясли. Деревянный гребень положили отдельно, как предмет, в котором тоже могла скрываться вина.

— Это мое, — сказал Иван тихо.

Писец поднял глаза.

— Теперь описанное.

Нарбут стоял рядом и не вмешивался. У Ивана дернулась здоровая рука, но он сжал пальцы. В полковой канцелярии он сам писал чужие вещи: "нож костяной", "пояс веревочный", "шапка овчинная, ветхая". Теперь строка шла по нему. Она не спрашивала, где заканчивается человек и начинается дело.

После вещей взялись за происхождение.

— Имя.

— Иван Векшин.

— Отчество.

— Филимонов.

— Сословие.

Иван замолчал. В полку это слово не требовало думать: писарский сын, при канцелярии, без Дара. Здесь оно стало ямой, куда могли столкнуть разом и отца, и реестр, и темный знак под повязкой.

— Писарский сын, — сказал Нарбут.

Писец записал, не посмотрев на него.

— Родовая печать?

— Нет.

— Справка о служилом проявлении до смотра?

— Нет.

— Присяга?

— Полковой разбор ночью, неполный, — сказал подьячий Магической стражи. — Отклик на слова службы, счета, живого и мертвого. Протокол здесь.

Писец принял лист, положил его под медную прижимную планку и провел по нижнему краю ногтем. Бумага вздрогнула. Где стояли слова "живого и мертвого", знак на ладони Ивана ответил слабой болью. Он не услышал имен, только сухой шорох, будто за стеной кто-то перевернул страницу.

— Кровь, — сказал писец у второго стола.

Иван сел на низкий стул. Его правую руку положили на доску. Повязку размотали. Тряпка отходила плохо: подсохшая сукровица держала ее за кожу, и лекарский ученик, не говоря ни слова, смочил край теплой водой. Когда ладонь открылась, один из писцов перекрестился быстро, пальцами в воздух, но тут же сделал вид, что поправлял воротник.

Темный знак лежал в середине ладони неровно, как печать, поставленная через мокрую бумагу. После дороги он стал глубже. По запястью тянулись красные тонкие линии, и каждая

заканчивалась в месте, где кожа еще помнила удар по образку. Лекарский ученик проколол Ивану палец серебряной иглой, выдавил три капли в разные чаши: простую медную, чашу с родовой солью и черную казенную, тяжелую, без украшений.

В медной кровь расплылась обычным темным кругом.

В родовой соли она лежала отдельно, не впитываясь. Соль не посинела, не дала искры, не подняла дымка. Писец наклонился ближе, потряс чашу, подождал. Ничего.

В черной чаше кровь не расплылась. Она вытянулась тонкой линией к краю, где была выбита мелкая цифра. Ивану стало холодно в зубах. Линия уперлась в цифру, дрогнула, отступила, снова пошла вперед. Где-то под столом тихо зазвенела решетка отвода.

— Родового отзвука нет, — сказал писец.

Подьячий Магической стражи шевельнулся, будто хотел напомнить, что это уже было записано.

— Казенный отклик есть, — продолжил писец. — Неровный. Без класса.

— Потому что класса нет, — сказал Нарбут.

— Или потому что носитель не годен к классу, — произнес другой голос.

Он пришел не от столов.

У входа в палату стоял человек в темном кафтане с высоким воротом. Влажный воздух подвала не взял его одежду: мех на вороте оставался сухим, сапоги чистыми, серебряная цепь на груди лежала ровно. Лицо у него было узкое, ухоженное, с тяжелыми веками; взгляд не спешил. Рядом, чуть позади, стояла девушка в темном платье с закрытыми рукавами. На ней не было показного богатства, но ткань сидела так, как сидит вещь, которую не перешивают за младшими сестрами. У правого запястья под кружевом поблескивала тонкая пластина с родовыми насечками.

Писцы поднялись почти одновременно.

— Боярин Феоктист Лаврентьев сын Ратшин, — объявил старший писец. — От родового съезда при комиссии. Девица Устинья Феоктистовна Ратшина, свидетель родовой меры.

Имя прошло по палате не громче капли, упавшей в чашу, но Иван почувствовал его ладонью. Не самого человека. За именем стояла печать: старая, широкая, привыкшая к поклонам и приказам, но где-то в глубине у нее был холодный провал. Знак в ладони Ивана потянулся туда, как палец тянется к царапине на гладком столе.

Девушка едва заметно прижала левую руку к правому рукаву. Не испугалась. Скорее, проверила, на месте ли застежка.

Ратшин посмотрел на чаши.

— Комиссия еще не заседает, — сказал Нарбут.

— Подвал уже работает, капитан. В прежнем порядке род имеет право видеть меру, которая может быть названа Даром. Тем более если этот Дар уже оставил увечье.

Иван услышал слово и посмотрел на черную чашу. Линия крови дошла до выбитой цифры и остановилась. Увечье. Не ночной бой, не нападение, не спасение конвоя. Слово было короткое, удобное для книги.

Дверь в дальнем конце палаты открылась без скрипа.

Человек, вошедший оттуда, не требовал объявления. Писцы не вскочили, как перед Ратшиным; они стали тише, что было заметнее. На нем был темный кафтан без цепей, узкие манжеты в пятнах чернил и зеленоватого порошка, кожаный пояс с ключами и маленькими инструментами. Волосы у него были собраны назад; лицо казалось усталым не от дороги, а от чисел, которые не дают спать. Он прошел к столу, взял протокол ночной станции и начал читать с середины, не спрашивая, кто что видел.

— Мокринский мост, фактически отсутствующий, — сказал он. — Свидетельство рекрута Ермолая Березня. Нападение караульного с родовым образком. Самовольное применение силы Иваном Векшиным. Увечье правой руки нападавшего, два пальца утрачены.

Иван сжал зубы. У него дернулась правая ладонь, и красные линии на запястье налились болью.

— Яков Вилимович, — сказал Нарбут.

Брюс поднял глаза.

— Я прочел, капитан.

— Он остановил удар по казенной печати.

— Это тоже написано.

— Не первым листом.

Брюс перевернул страницу.

— Значит, будет не первым и не последним. Для комиссии порядок листов не должен заменять порядок причин.

Ратшин слегка наклонил голову.

— Причина проста. У силы нет держателя. Родовой юноша, сломавший человеку руку или знак, отвечает домом. Старший крови платит, судит, отводит порчу, закрывает ущерб перед Богом и государем. Здесь кто ответит? Полковой писарь? Капитан, который подобрал удобное явление? Чаша без класса?

Он говорил спокойно. Без крика у ворот, без площадной злости. От этого Ивану стало неприятнее. В словах Ратшина была не только вражда. Там стоял порядок, где всякая беда должна была иметь старшего, печать и имущество, которое можно взять за вред.

Нарбут ответил не сразу.

— Вред нанесен при нападении на конвой.

— Я не оправдываю нападавшего, — сказал Ратшин. — Повесите его, если доказано. Вопрос не о нем. Если завтра этот юноша по вашей служилой Табели сорвет знак с моей дочери или с казенного пушкаря, по какому праву вы назовете это службой до того, как кто-то научился держать его руку?

Устинья не посмотрела на отца. Она смотрела на Иванову ладонь. Не как дворяне у полкового двора, где страх прятался за брезгливостью. Ее взгляд шел по красным линиям, по краю темного знака, по черной чаше. Когда Иван поднял глаза, пластина у ее запястья на миг потускнела. Внутри Ивановой груди возник тот же сухой провал, что на дороге в поддельной нити образка, но глубже и старше. Не ложь, вписанная поверх соскоба. Пустое место под многими слоями правильных слов.

Устинья заметила это. По крайней мере, заметила что-то в себе. Пальцы на рукаве сжались.

Брюс положил протокол на стол.

— Девушка Ратшина, руку на родовую пластину.

Ратшин повернул к нему голову.

— Ее мера здесь не предмет.

— Свидетель родовой меры находится в палате. Значит, ее печать отвечает за присутствие рода. Руку.

Устинья вышла вперед. Ни отец, ни она не спорили при писцах. Она сняла кружевную манжету с правого запястья. Под ней была серебряная пластина длиной с палец, тонкая, с крошечными насечками и потемневшим краем. Иван ожидал света, как у дворянских юношей на смотре. Пластина ответила иначе: по ней прошел слабый ровный блеск, потом в середине мелькнула задержка. Так задерживается дыхание у человека, который несет полное ведро и на миг наступает в пустоту.

Брюс не сказал ничего.

Ратшин сказал:

— Достаточно.

Брюс кивнул писцу. Тот записал. Иван не видел строку, но услышал, как перо дважды зацепилось за бумагу.

После крови была присяга.

Ивана поставили в железную раму. Ремни не затянули до боли, но так, чтобы он не мог дернуть рукой без отметки на коже. Черную чашу поставили перед ним, справа — книгу присяг, слева — поддельный мостовой пропуск, ночной протокол и треснувший образок в промасленной ткани. Образок уже не светился. Он выглядел жалко: темная доска, серебро с разрывом, копье святого стесано у края. Но когда Брюс развернул ткань, ладонь Ивана заболела сразу, как зуб на холодной воде.

— Читать будешь? — спросил Брюс.

— Что?

— След.

Нарбут сделал шаг.

— Он после дороги едва стоит.

— Потому и не весь. Край.

Брюс не объяснил для Ратшина, что ищет. Не стал произносить лекцию перед Иваном. Он просто придвинул образок на ширину ладони.

Иван смотрел на трещину. В подвале не было ночного крика, крови по ведру, Ермолаева плеча у двери. Была вещь, очищенная от сцены, и от этого опасная. Знак под кожей потянулся к ней. В груди поднялись не имена, а куски дороги: Мокрин, Клиновья, серая кобыла, бурый сургуч, ложная строка о передаче лица без рода. Потом пришло другое: желтый рывок, рука караульного, слабое место, куда Иван ткнул без приказа.

Он зашатался.

Ремни удержали.

— Хватит, — сказал Нарбут.

Брюс накрыл образок тканью. Боль не ушла сразу; она отступала, цепляясь за красные линии на запястье.

— Читает не кровь, — сказал Брюс.

Ратшин холодно усмехнулся.

— Вы успели за два вдоха вывести новую науку?

— Нет. Успел не принять старую ложь за полное объяснение.

Он подошел к Ивану и взял его правую руку так же, как берут поврежденный инструмент: осторожно, но без нежности. Большим пальцем отодвинул край кожи у знака. Иван дернулся.

— Больно?

— Да.

— Теперь отвечаешь точнее.

Брюс отпустил руку.

— Родового отзвука нет. Казенный отклик есть. Отклик идет не на кровь, а на запись, приказ, передачу ответственности и разрыв печатного хода. Самовольное применение подтверждено телом носителя и увечьем потерпевшего. Носитель без класса. Без держателя. Без навыка.

Каждая фраза ложилась в комнату как груз на весы. Иван ждал последней, но Брюс не торопился.

— Уничтожить? — спросил один из комиссионных писцов, очень тихо.

Нарбут посмотрел на него так, что тот уткнулся в бумагу.

— Передать духовным? — спросил Ратшин.

— Они проверят бесовское заражение и утопят нам месяц в молитвенных спорах, — сказал Брюс. — За месяц слух уйдет дальше, чем конвой. Дворяне будут кричать о порче,

служилые — о чуде, иностранные люди купят оба слуха по разной цене. Государю нужны не слухи.

— Государю нужна мера, — сказал Ратшин.

— Поэтому будет мера.

Комиссия поднялась в верхнюю палату ближе к вечеру. Ивана не отпустили. Его посадили на лавку у стены, где дуло из щели между новым камнем и старым бревенчатым временем. За открытой дверью виднелся край большого стола, зеленое сукно, подсвечники и мокрые следы сапог на полу. Там говорили без него, но о нем. Он слышал отдельные слова: "держатель", "ущерб", "низший чин", "до особого указа", "печать ограничения", "под надзор капитана Нарбута".

Один раз голос Ратшина стал громче:

— Вы создаете человека, за которого никто не отвечает.

Брюс ответил тише, но Иван услышал:

— Нет. Мы записываем человека, за которого государство уже начало отвечать, само того не признав.

Потом дверь закрыли.

Иван сидел, держа правую руку на коленях. В соседней комнате кто-то кашлял. Внизу лязгали решетки, наверху таскали камень или железо. Он думал о Филимоне, о сухарях на описном столе, о раненом караульном, о девушке с задержкой в серебряной пластине. Все это не складывалось в объяснение. Скорее, каждая вещь требовала отдельной строки, а места на листе не хватало.

Нарбут вышел первым. Лицо у него было темнее обычного.

— Встать.

Иван поднялся.

— Что решили?

— Сейчас услышишь.

Верхняя палата была не богаче подвала. Сырая стена, государев герб под временным полотнищем, стол, за которым сидели Брюс, Ратшин, еще двое комиссионных чиновников и старший писец. Устинья стояла у окна. За мутным стеклом темнел двор, в котором фонари отражались в лужах как порванные желтые нити.

Старший писец прочел постановление.

Ивана Векшина, писарского сына, не признавали дворянином, не освобождали от разбирательства по дорожному увечью и не передавали духовной комиссии до новой причины. Его определяли временным нижним чином при Магической страже, без права самостоятельного применения Дара, без права выхода из учебного двора без приказа, без права касаться родовых и казенных печатей вне надзора. До установления класса и природы силы на него следовало поставить ограничительную печать.

Слова шли долго. Иван понял их раньше, чем писец дошел до конца. Его не отпустили, не казнили и не оправдали. Его вписали туда, где пустая графа уже не могла оставаться пустой.

— Руку, — сказал Брюс.

На этот раз рама была меньше. Ее поставили прямо на стол: железное кольцо, три медные жилы, тонкая черная пластина с двуглавым орлом без венца. Иван положил правую ладонь в кольцо. Устинья отвернулась от окна и смотрела теперь открыто. Ратшин тоже смотрел, но иначе: как человек, запоминающий форму замка, который однажды придется вскрывать.

Брюс взял короткий стилет с полой иглой.

— Печать фиксирует не мысль и не страх, — сказал он Ивану. — Самовольный выброс. Касание закрытого узла. Разрыв печати без приказа. После нарушения даст ожог и запись в контрольной книге. Если попытаешься сорвать ее сам, потеряешь кисть раньше, чем успеешь пожалеть.

— Это чин? — спросил Иван.

— Это условие, при котором чин не станет поводом для твоей казни.

Игла вошла в край темного знака.

Боль была белой. Не светом, а пустотой, в которой на миг исчезли звуки палаты. Потом пришел жар. Медные жилы в раме зазвенели. Черная пластина прижалась к коже, расплавилась без огня и ушла под верхний слой ладони тонкой казенной решеткой. Иван попытался выдернуть руку, но Нарбут уже держал его за плечо, а ремень на столе прижал запястье.

Раз. Жар.

Два. Холод.

Три. Внутри ладони что-то щелкнуло, как замок в книге.

Иван согнулся над столом. Из носа капнула кровь, упала на край постановления. Старший писец быстро подложил песок, чтобы пятно не расплзлось по словам.

— Записать, — сказал Брюс. — Ограничительная печать принята. Откат носовой, умеренный. Сознание сохранено.

Иван выдохнул через рот. На ладони поверх темного знака теперь лежала тонкая решетка, почти невидимая, если смотреть прямо, и черная под углом. Она не закрывала старую печать. Она держала ее, как решетка держит дверь, за которой кто-то еще жив.

Ратшин поднялся.

— Родовой съезд оставляет за собой право требовать нового рассмотрения после первого ущерба от этой меры.

Брюс убрал иглу.

— После первого ущерба все потребуют нового рассмотрения.

Устинья вышла вслед за отцом не сразу. У двери она задержалась на один шаг и посмотрела на Иванову руку. Пластина под ее манжетой снова дала ту короткую задержку, которую Иван теперь уже узнавал. Он не сказал ничего. Она тоже. Между ними прошла не близость и не обещание, а трещина в двух разных порядках: его только что взяли на учет, ее порядок уже давно держался так, будто учета боялся.

Когда Ратшины ушли, Нарбут подал Ивану свернутую повязку.

— Замотай.

Пальцы плохо слушались. Иван обернул ладонь криво, оставив край решетки видимым. Нарбут поправил узел одним движением.

— Учебный двор завтра?

— Сегодня, — сказал Нарбут. — Спать будешь там. Чем меньше людей увидит, куда тебя перевели, тем меньше придет ночью просить Бога, род или деньги исправить решение комиссии.

— Я теперь служу?

Нарбут посмотрел на него, потом на постановление, где кровь уже потемнела под песком.

— Теперь тебя можно наказать как служилого. Остальное придется заслужить.

Они вышли во двор через боковую дверь. Ночь уже легла на Коллегию. Ветер с Невы нес запах смолы, сырого камня и дыма от сырых дров. Где-то за стеной стонал раненый караульный; звук был слабый, но Иван узнал его сразу. Ограничительная печать на ладони ответила маленьким уколом, будто контрольная книга где-то в подвале открылась на первой строке.

Нарбут не остановился.

Иван пошел следом. Под сапогами хлюпала петербургская грязь, впереди темнели казарменные строения учебного двора, и каждая решетка на окнах казалась продолжением той, что теперь лежала под кожей его правой руки.

Глава 5: Железная азбука

Учебный двор Магической стражи встретил Ивана не тишиной казармы, а ночной работой железа.

За стеной Коллегии, где еще слышались голоса писцов и редкий стон раненого караульного, тянулись длинные низкие строения с мокрыми крышами. Между ними лежал плац, залитый темной водой по колеям; из луж торчали обрубки железных кольев, медные дуги, деревянные щиты с черными пятнами от прежних ударов. У дальней стены светилась кузница. Дверь там не закрывали, и каждый взмах мехов выбрасывал наружу красный неровный свет, в котором снег у порога казался перемешанным с угольной пылью.

Нарбут провел Ивана через боковую калитку. Караульный у будки не спросил имени. Посмотрел на повязку, на Нарбутову печать, на мокрый лист постановления в кожаной папке и только тогда отпер засов.

— Нижний новопоставленный, — сказал Нарбут. — Под мою ответственность. Без выхода.

Караульный сделал отметку в маленькой дощечке, подвешенной к стене на веревке. Иван услышал, как ножик скребет по сырому дереву. После Коллегии этот звук показался почти мягким: не перо, не печать, не игла Брюса, а простая зарубка, которую завтра можно будет соскоблить, если начальство велит.

В спальном бараке пахло мокрым сукном, кислым сапогом, железной окалиной и человеческим теплом, не успевшим стать покоем. На двух ярусах лежали ученики и нижние чины: кто спал, не снимая пояса, кто шептался под одеялом, кто смотрел на дверь с тем быстрым расчетом, с каким на дороге смотрели на пакет Нарбута. У печки сидел Ермолай Березень; его мокрая шапка лежала рядом с лавкой, а сапоги еще блестели дорожной сыростью, будто его провели другой калиткой незадолго до Ивана. Ребра, ушибленные на станции, заставляли его держаться прямо; зато глаза у него были живые, и в них не было той осторожной пустоты, с которой писцы смотрели на человека, уже вписанного в чужое дело.

— И тебя сюда? — спросил Иван.

— При свидетелях держат, — сказал Ермолай. — И ноги целее. До другого приказа.

Нарбут бросил Ивану серое одеяло.

— Спать. До света не разговаривать.

— Рука...

— Если начнет гореть без причины, будишь дневального. Если причина есть, сначала думай, потом будишь.

Он ушел, не проверив, лег ли Иван. Дверь закрылась. В бараке какое-то время слушали его шаги за стеной, потом шепот вернулся. Иван сел на нижнюю нары рядом с Ермолаем и развязал повязку настолько, чтобы кожа не прилипла к тряпке до утра.

Ограничительная печать была видна под углом. Тонкая черная решетка лежала поверх старого темного пятна, уходя в кожу так ровно, будто ее не вживили час назад в верхней палате, а она выросла там сама. Когда Иван шевелил пальцами, решетка не двигалась, но боль отзывалась в каждом промежутке между прутьями. Старый знак под ней жил глубже. Он не бился и не светился. Он слушал.

Ермолай посмотрел один раз и отвернулся к печке.

— У нас в слободе лошадям после новой узды губы мажут салом, — сказал он. — Чтоб железо не рвало.

— Мне сало в ладонь не велели.

— Тебе вообще ничего пока не велели. Кроме не умирать.

Иван хотел усмехнуться, но вышел только выдох. Он лег, положив правую руку на грудь, чтобы случайно не прижать ее к доске. За стеной кузница работала еще долго. Меха вздыхали. Молот бил не часто, но всякий раз по бараку проходил низкий звук, и печать на ладони отвечала маленьким уколом, словно контрольная книга в подвале Коллегии проверяла, спит ли новый нижний чин.

Сон пришел кусками. В одном куске Филимон пересчитывал сухари на описном столе, и каждый сухарь оказывался отрезанным пальцем. В другом Устинья стояла у окна верхней палаты и держала серебряную пластину, на которой вместо родовых насечек были имена рекрутов из полковой ведомости. Перед рассветом Иван проснулся от того, что в бараке звонил медный таз.

— Подъем, нижние и учебные! — крикнул дневальный. — Кто без сапог на плац выйдет, тот босиком до обеда и будет!

Учебный двор при дневном свете оказался хуже и яснее ночного.

Он был устроен вокруг трех вещей: кузницы, плаца и старой часовни у глухой стены. Кузница жила постоянно. От нее тянулись железные полосы к стойкам, мишеням, к песчаным ящикам и низким столам с гвоздями, скобами, пороховыми желобами. Плац был расчерчен белой известью на квадраты, круги и узкие дорожки. В одних местах земля была втоптана до черной глины, в других лежал песок, смешанный с металлической стружкой. Часовня стояла отдельно: маленькая, перекошенная, с заколоченным боковым окном и потемневшим крестом. У двери висела цепь, старая, но без ржавчины. На камне над притолокой проступал знак, который кто-то много раз белил известью и каждый раз не до конца закрывал.

Утренний строй собрали быстро. Простолюдины с малыми казенными откликами стояли отдельно от дворянских учеников, но не так далеко, чтобы обе стороны могли делать вид, будто друг друга не видят. На дворянах были свои пояса, родовые обручи, иногда маленькие пластинки у воротников. У служилых — казенные метки на рукавах, перевязанные ладони, потемневшие ногти, ожоги от учебных рам. Между рядами ходил старший унтер с деревянной рейкой. Он не бил ею. Пока.

Нарбут вышел из кузницы, застегивая рукав. При дневном свете ожог у него на запястье выглядел тонкой бурой линией.

— Векшин, — сказал он. — В строй к нижним учебным. Березень — к свидетелям при площадке. Смотреть, молчать, по команде помогать.

Ермолай кивнул. Иван встал туда, куда показали. Несколько учеников с дворянской стороны повернули головы. Один, высокий, с гладко выбритым подбородком и узким родовым обручем на шапке, улыбнулся так, будто уже придумал строку для вечернего пересказа. Иван не стал разглядывать его герб. Сейчас любой герб казался крючком, за который можно было зацепить чужую злость.

— Здесь не палата и не молельня, — сказал Нарбут. — Кто хочет славы, идет к песчаному щиту и показывает, сколько крови готов оставить на первой ошибке. Кто хочет служить, учится мере. Мера начинается не с удара.

Он кивнул к кузнице.

Из красного света вышла девушка с железным прутом на плече.

Иван узнал ее не по лицу, потому что прежде не видел. По тому, как на нее смотрели остальные: простые нижние — с привычной настороженной надеждой, дворянские — с раздражением, которое пытались держать выше ремесла, но все равно опускали глазами к ее рукам.

Оксинья Лаптева была невысокой, крепкой, с широкими кистями и коротко перевязанными волосами, из-под платка выбивались темно-русые влажные пряди. На левом предплечье, где рукав был закатан, кожа шла мелкими белыми рубцами. На правой ладони лежала казенная метка, не черная и глубокая, как у Ивана, а светло-серая, будто железная пыль въелась в кожу

и не смывалась. Прут на ее плече был толщиной с большой палец. На конце, раскаленном до тусклого красного, висела капля шлака.

Она воткнула прут в песчаный ящик. Песок зашипел. Дым пахнул мокрой глиной и металлом.

— Железо не слушает просьб, — сказала Оксинья, не поворачиваясь к ученикам. — Железо держит, если дать ему форму. Кто тянет его на себя, тот получает крюк в кость.

Нарбут посмотрел на Ивана.

— Слушай руками, не гордостью.

Первое упражнение было простым только для тех, кто не брался за него.

Перед каждым положили по гвоздю на деревянную дощечку с тремя известковыми чертами. Нужно было поднять гвоздь на толщину пальца, провести его от первой черты ко второй и опустить, не царапнув дерево. Дворянские ученики работали через родовые обручи: у кого свет шел желтым, у кого белесым, у одного — с зеленоватой примесью, от которой пахло травой после грозы. У служилых гвозди двигались хуже, рывками, но двигались. Их учили не красоте. Их учили повторяемости.

Оксинья подняла свой гвоздь без света. Положила ладонь рядом, не касаясь. Гвоздь встал, пошел, остановился, развернулся тупым концом вперед и вернулся на прежнее место. На доске не осталось следа.

— Теперь ты, Коллегия, — сказала она Ивану.

— У него имя есть, — сказал Ермолай от стойки свидетелей.

Старший унтер ударил рейкой по столбу.

— Свидетели молчат.

Оксинья посмотрела на Ермолая не сердито, скорее с меркой, как смотрят на доску перед распилом.

— Имя будет, когда гвоздь донесет. Пока Коллегия.

Иван положил левую руку на край дощечки. Правую оставил над гвоздем. Повязка мешала, но снимать ее при всех не хотелось. Под тканью печать уже знала, что от нее ждут. Она стянула кожу холодом.

Он попытался сделать мало. Не удар, не рывок, просто тонкий выдох через ладонь.

Гвоздь подпрыгнул, перевернулся и вонзился острием в доску так резко, что дерево треснуло до второй черты. Ограничительная печать вспыхнула ожогом. Иван дернул рукой и сжал зубы, но звук все равно вышел, короткий и злой.

С дворянской стороны кто-то тихо фыркнул.

Оксинья вытащила гвоздь клещами.

— Ты не мало сделал. Ты сделал много, только зажал сверху.

— Я почти не трогал.

— Почти у тебя с палец толщиной.

Она положила новый гвоздь. Иван попробовал снова. На этот раз гвоздь не двинулся. В груди поднялся знакомый шорох, но вместо строки пришла пустая доска. Ни имени, ни приказа, ни передачи. Просто железо, которому было все равно, кто его держит.

— Дыши, — сказал Нарбут.

Иван вдохнул.

Гвоздь сорвался вбок, ударил по медной скобе на краю стола, отскочил и рассек кожу на тыльной стороне руки дворянскому ученику, стоявшему напротив. Ранка была мелкая, но кровь выступила сразу.

— Нарочно? — спросил тот.

Нарбут сделал шаг между рядами.

— Если бы нарочно, ты бы уже лежал. К лекарскому столу. Остальные смотрят на дощечки.

Ученик побледнел от злости сильнее, чем от пореза, но ушел. Иван стоял, чувствуя, как печатать под повязкой жжет, а вся утренняя грязь, все взгляды и ночной стон караульного снова собираются вокруг его правой руки.

Оксинья не утешала.

— Вот поэтому его одного к железу не пускать, — сказала она Нарбуту.

— Я тебя не для жалости позвал.

— Я поняла.

Следующим был пороховой желоб.

В глиняной длинной посуде лежала тонкая черная дорожка, пересыпанная железной стружкой. На концах желоба стояли две медные пластинки. Нужно было провести искру по стружке так, чтобы порох не вспыхнул, а только дал сухой серый дым. Оксинья показала первой. Она коснулась края желоба костяшками двух пальцев, и стружка поднялась мелкой волной. Черная дорожка поседела, но не загорелась. Дым лег низко, пахнул серой, углем и чем-то кислым, от чего у Ивана сразу защемило нос.

— Пороховая жила любит дурного начальника, — сказала Оксинья. — Ей бы все сразу и в лицо. Дай ей приказ целиком — она заберет руку. Дай ей край — пройдет и не спросит, кто тут родовитый.

Один из дворянских учеников сказал негромко:

— Пушкарская мудрость.

Оксинья даже не повернулась.

— Верно. Пушкарская. Она после взрыва считает всех одинаково.

Нарбут не вмешался. Иван заметил это и запомнил: в учебном дворе не всякую дерзость тушили сразу. Иногда ей давали лечь на стол рядом с железом, чтобы каждый видел, выдержит ли она дело.

Ивану не дали пороховой желоб. Нарбут поставил перед ним пустую глиняную канавку, насыпал туда только железную стружку и две щепки.

— Без пороха.

— Потому что я опасен?

— Потому что ты вчера уже показал, что умеешь быть опасным без подготовки.

Иван положил руку над канавкой. На этот раз он не искал строки. Он смотрел на стружку: мелкие кривые кусочки, синие на краях, черные в углублениях, пахнущие кузницей. Они не просили имени. Не жаловались на пустую графу. Не знали, кто такой Ратшин, почему Брюс сказал "без держателя", отчего Ермолай не отвел глаз у крыльца станции.

Стружка дернулась. Легла обратно.

Еще раз.

Она поднялась вся сразу, как испугнутая кошка, и ударила Ивану в повязку. Черные крупинки прилипли к влажной ткани. Ограничительная печать дала такой ожог, что он едва не упал на стол. По краю ладони выступила кровь, тонко, под решеткой.

— Хватит, — сказал Нарбут.

— Нет, — выдохнул Иван.

— Хватит, нижний Векшин. В приказе это слово короче твоего упрямства.

Иван отступил.

До полудня его не подпускали к железу. Он носил ведра с песком, держал щиты, подавал клещи, учился стоять в стороне так, чтобы не мешать чужому контуру. Это оказалось не легче. Когда Оксинья работала с двумя нижними, Иван видел, как ее сила идет не наружу, а по железу: входит в скобу, проходит через кольцо, выходит в песок, оставляя на воздухе только слабый запах горячего камня. В ее движениях не было красоты дворянских светов. Рука, шаг, выдох, наклон плеча, остановка. Ошибка сразу становилась видна: кольцо било по стойке, стружка ложилась комом, щит гудел не тем тоном.

Ермолай помогал у песчаной кучи. Он поднимал мешки осторожно, ребра еще болели, и все равно делал это быстрее многих.

— Она тебя нарочно Коллегией зовет? — спросил Иван, когда они вдвоем перетаскивали мокрый щит к стене.

— Меня пока Берестой звала.

— Почему?

— Сказала, стою ровно, горю быстро.

Иван все-таки усмехнулся. Потом печать дернула ладонь, будто смех тоже нужно было внести в контрольную книгу.

После полудня Нарбут велел собрать узкий круг у железных кольев. Там земля была суше: под песком лежали доски, а под досками, как объяснил старший унтер, медная сетка отвода. Ивану это не объяснили заранее. Он понял по звуку. Когда ученики становились на площадку, доски отвечали не глухо, а с тонким внутренним звоном.

— Теперь мера, — сказал Нарбут.

Оксинья сняла с крюка железный контур: два кольца, соединенные тремя короткими прутьями, с кожаными петлями для ладоней. Кольца были зачернены от старой работы. На одном виднелся свежий надпил, будто его недавно правили после сильного удара.

— Это мне? — спросил Иван.

— Это ей, — сказал Нарбут.

Оксинья протянула руки. Ей закрепили петли на ладонях, так что кольца легли у запястий. Прутья между ними проходили перед грудью. Она стояла прямо, ноги в песке, плечи чуть поданы вперед.

— Твоя задача, Векшин, не поднять железо и не погасить свою силу. Провести через ее контур до третьего кола. На коле висит медная шайба. Шайба должна повернуться и не упасть.

Иван посмотрел на Оксинью.

— А если я сорвусь?

— Она получит ожог. Ты получишь запись. Я получу основание связать тебя на ночь. Все трое будем недовольны.

Оксинья шевельнула пальцами в петлях.

— Не тяни на себя. У железа свой ход. У меня свой. Влезешь между — я тебя потом молотком догоню, если ладони останутся.

Дворянские ученики подошли ближе. Им было интересно не упражнение. Им было интересно, как служилая ученица из кузницы даст руки безродному, которого вчера боярин Ратшин называл силой без держателя. Иван почувствовал это спиной. Нарбут тоже, но не разогнал их.

Иван встал напротив Оксиньи. Правую руку поднял на высоту ее контура. Повязку пришлось снять. Воздух коснулся решетки, и кожа вокруг нее сразу пошла мурашками.

— Глаза на третий кол, — сказала Оксинья.

— Мне нужно видеть руки.

— Тогда ты уже тащишь ко мне, а не через меня.

Иван перевел взгляд на кол. На нем висела медная шайба размером с ладонь, тусклая, в зеленых пятнах. Расстояние было небольшим. В полковой канцелярии он кинул бы туда скомканный лист, не вставая со скамьи.

Он вдохнул и толкнул поток.

Оксинья дернулась. Железные кольца звякнули, но шайба не повернулась. Иван почувствовал сопротивление чужого контура и тут же сделал то, что делал с гвоздем: попытался удержать, исправить, направить сильнее. Прутья между Оксиньиными ладонями побелели по краям. Она стиснула зубы.

— Назад! — рывкнул Нарбут.

Иван отступил, но поток отступил не сразу. Ограничительная печать ударила снизу вверх, в локоть, в плечо, в зубы. Он согнулся. На ладони Оксиньи, там, где кожа касалась петли, проступила красная полоса.

— Снять? — спросил старший унтер.

— Нет, — сказала Оксинья.

Нарбут посмотрел на нее.

— Руку покажи.

Она показала. Ожог был неглубокий. Пока.

— Еще раз, — сказал Нарбут Ивану. — Но теперь объясни, что сделал неправильно.

Иван хотел сказать: слишком сильно. Это было бы удобно. И неверно. Сила была не главной ошибкой. Он вспомнил, как в Коллегии писец забрал его вещи и сказал: "Теперь описанное". Тогда он тоже хотел удержать свое, хотя оно уже попало в чужую строку.

— Я забрал ее контур к себе, — сказал он.

Оксинья хмыкнула.

— Почти грамотный.

— Грамотный, — сказал Ермолай от кольев.

Старший унтер поднял рейку, но Нарбут коротко махнул рукой: оставить.

Второй раз Иван не стал искать железо в руках Оксиньи. Он смотрел на медную шайбу и считал дыхание не по себе: вдох, когда Оксинья чуть сгибает пальцы; выдох, когда ее плечи опускаются; пауза, когда кольца замирают. Его собственная ладонь горела под решеткой. Старый знак под ней хотел рвануться к знакомой трещине, найти слабое место, ткнуть и оборвать. Железо таких трещин не давало. В нем была не ложь, а сопротивление.

Иван пустил поток тонко, но не сжал его сверху. Кольца на руках Оксиньи приняли первый толчок, прутья дрогнули. Оксинья не удерживала его силой. Она чуть повернула левое запястье, и поток пошел по железу, как вода по желобу, где уже вынуты лишние камни. Ивану захотелось поправить. Он не поправил.

Медная шайба на третьем коле повернулась.

Один раз.

Не упала.

Никто не хлопнул. В учебном дворе за это не хлопали. Старший унтер сделал зарубку в дощечке. Оксинья выдохнула и только тогда поморщилась. На ее ладони красная полоса стала ярче, но кожа не лопнула.

— Вот это мало, — сказала она.

Иван опустил руку. Из носа потекла кровь. Он успел отвернуться от песка, но несколько капель все равно упали на край медной сетки. Печать на ладони дернулась, потом стихла.

Нарбут подал ему тряпку.

— Запомни не успех. Запомни, где хотел исправить.

— Я не исправил.

— Сегодня.

Этого хватило, чтобы дворянские ученики разошлись с тихими голосами, которые делали вид, что обсуждают свои щиты. Иван услышал только обрывки: "держали за ручку", "кузнечная нянька", "родовой щит ему покажи". Оксинья тоже услышала. Она снимала петли медленно, чтобы не содрать кожу с ожога.

— Завтра кто-нибудь полезет, — сказала она.

— Возможно, — ответил Нарбут.

— Вы и ждете.

— Я жду, кто полезет не руками.

Иван посмотрел на него, но Нарбут уже повернулся к старшему унтеру и велел убрать пороховые желоба до вечерней сырости.

К вечеру учебный двор выдохся. Дождь снова начал собираться в воздухе, еще без капель, но уже с тяжестью в крышах и суставах. Ученики чистили железо, засыпали песком влажные пятна, перетаскивали щиты под навес. Ивану дали работу у старых кольев: снять медные шайбы, протереть их кислой тряпкой и сложить в ящик. Правая рука слушалась плохо. Левая быстро устала. Ермолай работал рядом и молчал так старательно, что это стало почти разговором.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.